

- [Антон Павлович Чехов](#)
    - 
    - [Драма на охоте \(Из записок судебного следователя\)](#)
  - [notes](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
    - [6](#)
    - [7](#)
    - [8](#)
    - [9](#)
    - [10](#)
    - [11](#)
    - [12](#)
    - [13](#)
    - [14](#)
    - [15](#)
    - [16](#)
    - [17](#)
    - [18](#)
    - [19](#)
    - [20](#)
    - [21](#)
    - [22](#)
    - [23](#)
    - [24](#)
    - [25](#)
    - [26](#)
    - [27](#)
    - [28](#)
    - [29](#)
    - [30](#)
-

# Антон Павлович Чехов

## Драма на охоте (Истинное происшествие)

В один из апрельских полудней 1880 года в мой кабинет вошел сторож Андрей и таинственно доложил мне, что в редакцию явился какой-то господин и убедительно просит свидания с редактором.

— Должно быть, чиновник-с, — добавил Андрей, — с кокардой...

— Попроси его прийти в другое время, — сказал я. — Сегодня я занят. Скажи, что редактор принимает только по субботам.

— Он и третьего дня приходил, вас спрашивал. Говорит, что дело большое. Просит и чуть не плачет. В субботу, говорит, ему несвободно... Прикажете принять?

Я вздохнул, положил перо и принялся ждать господина с кокардой. Начинающие писатели и вообще люди, не посвященные в редакционные тайны, приходящие при слове «редакция» в священный трепет, заставляют ждать себя немалое время. Они, после редакторского «проси», долго кашляют, долго сморкаются, медленно отворяют дверь, еще медленнее входят и этим отнимают немало времени. Господин же с кокардой не заставил ждать себя. Не успела за Андреем затвориться дверь, как я увидел в своем кабинете высокого широкоплечего мужчину, державшего в одной руке бумажный сверток, а в другой — фуражку с кокардой.

Человек, так добивавшийся свидания со мной, играет в моей повести очень видную роль, Необходимо описать его наружность.

Он, как я уже сказал, высок, широкоплеч и плотен, как хорошая рабочая лошадь. Всё его тело дышит здоровьем и силой. Лицо розовое, руки велики, грудь широкая, мускулистая, волосы густы, как у здорового мальчика. Ему под сорок. Одет он со вкусом и по последней моде в новенький, недавно сшитый триковый костюм. На груди большая золотая цепь с брелками, на мизинце мелькает крошечными яркими звездочками бриллиантовый перстень. Но, что главнее всего и что так немаловажно для всякого мало-мальски порядочного героя романа или повести, — он чрезвычайно красив. Я не женщина и не художник. Мало я смыслю в мужской красоте, но господин с кокардой своею наружностью произвел на

меня впечатление. Его большое мускулистое лицо осталось навсегда в моей памяти. На этом лице вы увидите настоящий греческий нос с горбинкой, тонкие губы и хорошие голубые глаза, в которых светятся доброта и еще что-то, чему трудно подобрать подходящее название. Это «что-то» можно подметить в глазах маленьких животных, когда они тоскуют или когда им больно. Что-то умоляющее, детское, безропотно терпящее... У хитрых и очень умных людей не бывает таких глаз.

От всего лица так и веет простотой, широкой, простецкой натурой, правдой... Если не ложь, что лицо есть зеркало души, то в первый день свидания с господином с кокардой я мог бы дать честное слово, что он не умеет лгать. Я мог бы даже держать пари.

Проиграл бы я пари или нет — читатель увидит далее.

Каштановые волосы и борода густы и мягки, как шёлк. Говорят, что мягкие волосы служат признаком мягкой, нежной, «шёлковой» души... Преступники и злые, упрямые характеры имеют, в большинстве случаев, жесткие волосы. Правда это или нет — читатель опять-таки увидит далее... Ни выражение лица, ни борода — ничто так не мягко и не нежно в господине с кокардой, как движения его большого, тяжелого тела. В этих движениях сквозят воспитанность, легкость, грация и даже — простите за выражение — некоторая женственность. Не много нужно усилий моему герою, чтобы согнуть подкову или сплющить в кулаке коробку из-под сардинок, а между тем ни одно его движение не выдает в нем физически сильного. За дверную ручку или за шляпу он берется, как за бабочку: нежно, осторожно, слегка касаясь пальцами. Шаги его бесшумны, рукопожатия слабы. Глядя на него, забываешь, что он могуч, как Голиаф, что одной рукой может поднять он то, чего не поднять пяти редакционным Андреем. Глядя на его легкие движения, не верится, что он силен и тяжел. Спенсер мог бы назвать его образцом грации.

Войдя ко мне в кабинет, он сконфузился. Его нежную, чуткую натуру, вероятно, шокировал мой нахмуренный, недовольный вид.

— Извините, ради бога! — начал он мягким, сочным баритоном. — Я врываюсь к вам не в урочное время и заставляю вас делать для меня исключение. Вы так заняты! Но видите ли, в чем дело, г. редактор: я завтра уезжаю в Одессу по одному очень важному делу... Имей я возможность отложить эту поездку до субботы, то, верьте, я не просил бы вас делать для меня исключение. Я преклоняюсь перед правилами, потому что люблю порядок...

«Как, однако, он много говорит!» — подумал я, протягивая руку к перу и тем давая знать, что мне некогда. (Уж больно надоели мне тогда

посетители!)

— Я отниму у вас одну только минуту! — продолжал мой герой извиняющимся голосом. — Но прежде всего позвольте представиться... Кандидат прав Иван Петрович Камышев, бывший судебный следователь... К пишущим людям не имею чести принадлежать, но, тем не менее, явился к вам с чисто писательскими целями. Перед вами стоит желающий попасть в начинающие, несмотря на свои под сорок. Но лучше поздно, чем никогда.

— Очень рад... Чем могу быть полезен?

Желающий попасть в начинающие сел и продолжал, глядя на пол своими умоляющими глазами:

— Я притащил к вам маленькую повесть, которую мне хотелось бы напечатать в вашей газете. Я вам откровенно скажу, г. редактор: написал я свою повесть не для авторской славы и не для звуков сладких... Для этих хороших вещей я уже постарел. Вступаю же на путь авторский просто из меркантильных побуждений... Заработать хочется... Я теперь решительно никаких не имею занятий. Был, знаете ли, судебным следователем в С — м уезде, прослужил пять с лишком лет, но ни капитала не нажил, ни невинности не сохранил...

Камышев вскинул на меня своими добрыми глазами и тихо засмеялся.

— Надоедная служба... Служил-служил, махнул рукой и бросил. Занятий у меня теперь нет, есть почти нечего... И если вы, минуя достоинства, напечатаете мою повесть, то сделаете мне больше, чем одолжение... Вы поможете мне... Газета не богадельня, не странно-приимный дом... Я это знаю, но... уж вы будьте так добры...

«Лжешь»! — подумал я.

Брелоки и перстень на мизинце плохо вязались с письмом ради куска хлеба, да и по лицу Камышева пробежала чуть заметная, уловимая опытным глазом тучка, которую можно видеть на лицах только редко лгущих людей.

— Какой сюжет вашей повести? — спросил я,

— Сюжет... Как бы вам сказать? Сюжет не новый... Любовь, убийство... Да вы прочтете, увидите... «Из записок судебного следователя»...

Я, вероятно, поморщился, потому что Камышев сконфуженно замигал глазами, встрепенулся и проговорил быстро:

— Повесть моя написана по шаблону бывших судебных следователей, но... в ней вы найдете быть, правду... Всё, что в ней изображено, всё от крышки до крышки происходило на моих глазах... Я был и очевидцем и даже действующим лицом.

— Дело не в правде... Не нужно непременно видеть, чтоб описать... Это не важно. Дело в том, что наша бедная публика давно уже набилась оскмину на Габорио ц Шкляревском. Ей надоели все эти таинственные убийства, хитросплетения сыщиков и необыкновенная находчивость допрашивающих следователей. Публика, конечно, разная бывает, но я говорю о той публике, которая читает мою газету. Как называется ваша повесть?

— «Драма на охоте».

— Гм... Несерьезно, знаете ли... Да и, откровенно говоря, у меня накопилась такая масса материала, что решительно нет возможности принимать новые вещи, даже при несомненных их достоинствах...

— А уж мою-то вещь примите, пожалуйста... Вы говорите, что несерьезно, но... трудно ведь назвать вещь, не издавши ее... И неужели вы не можете допустить, что и судебные следователи могут писать серьезно?

Всё это проговорил Камышев заикаясь, вертя между пальцами карандаш и глядя себе ноги. Кончил он тем, что сильно сконфузился и замигал глазами. Мне стало жаль его.

— Хорошо, оставьте, — сказал я. — Только не обещаю вам, что ваша повесть будет прочтена в скором времени. Вам придется подождать...

— Долго?

— Не знаю... Зайдите месяца... этак через два, через три...

— Долгонько... Но не смею настаивать... Пусть будет по-вашему...

Камышев поднялся и взялся за фуражку.

— Спасибо за аудиенцию, — сказал он. — Пойду теперь домой и буду питать себя надеждами. Три месяца надежд! Но, однако, я вам надоел. Честь имею кланяться!

— Позвольте, одно только слово, — сказал я, перелистывая его толстую, исписанную мелким почерком тетрадь. — Вы пишете здесь от первого лица... Вы, стало быть, под судебным следователем понимаете здесь себя?

— Да, но под другой фамилией. Роль моя в этой повести несколько скандальна... Неловко же под своей фамилией... Так через три месяца?

— Да, пожалуй, не ранее...

— Будьте здоровехоньки!

Бывший судебный следователь галантно раскланялся, осторожно взялся за дверную ручку и исчез, оставив на моем столе свое произведение. Я взял тетрадь и спрятал ее в стол.

Повесть красавца Камышева покоилась в моем столе два месяца. Однажды, уезжая из редакции на дачу, я вспомнил о ней и взял ее с собою.

Сидя в вагоне, я открыл тетрадь и начал читать из середины. Середина заинтересовала меня. В тот же день вечером я, несмотря на отсутствие досуга, прочел всю повесть от начала до слова «Конец», написанного размашистым почерком. Ночью я еще раз прочел эту повесть, а на заре ходил по террасе из угла в угол и тер себе виски, словно хотел вытереть из головы новую, внезапно набежавшую, мучительную мысль... А мысль была действительно мучительная, невыносимо острая... Мне казалось, что я, не судебный следователь и еще того менее не присяжный психолог, открыл страшную тайну одного человека, тайну, до которой мне не было никакого дела... Я ходил по террасе и убеждал себя не верить своему открытию...

Повесть Камышева не попала в мою газету по причинам, изложенным в конце моей беседы с читателем. С читателем я встречусь еще раз. Теперь же, надолго расставаясь с ним, я предлагаю на его прочтение повесть Камышева.

Эта повесть не выделяется из ряда вон. В ней много длиннот, немало шероховатостей... Автор питает слабость к эффектам и сильным фразам... Видно, что он пишет первый раз в жизни, рукой непривычной, невоспитанной... Но все-таки повесть его читается легко. Фабула есть, смысл тоже, и, что важнее всего, она оригинальна, очень характерна и то, что называется, *sui generis*<sup>[1]</sup>. Есть в ней и кое-какие литературные достоинства. Прочесть ее стоит... Вот она:

# Драма на охоте (Из записок судебного следователя)

## Глава I

— Муж убил свою жену! Ах, как вы глупы! Дайте же мне наконец сахару!

Этот крик разбудил меня. Я потянулся и почувствовал во всех своих членах тяжесть, недомогание... Можно отлежать себе руку и ногу, но на этот раз мне казалось, что я отлежал себе всё тело от головы до пяток. Не укрепляющим, а расслабляющим образом действует послеобеденный сон в душной, сушащей атмосфере, под жужжанье мух и комаров. Разбитый и облитый потом, я поднялся и пошел к окну. Был шестой час вечера. Солнце стояло еще высоко и жгло с таким же усердием, как и три часа тому назад. До захода и прохлады оставалось еще много времени.

— Муж убил свою жену!

— Полно тебе врать, Иван Демьяныч! — сказал я, давая легкий щелчок носу Ивана Демьяныча. — Мужья убивают жен только в романах да под тропиками, где кипят африканские страсти, голубчик. С нас же довольно и таких ужасов, как кражи со взломом или проживание по чужому виду.

— Кражи со взломом... — процедил сквозь свой крючковатый нос Иван Демьяныч. — Ах, как вы глупы!

— Но что же поделаешь, голубчик? Чем мы, люди, виноваты, что нашим мозгам предел положен? Впрочем, Иван Демьяныч, не грешно быть дураком при такой температуре. Ты вот у меня умница, но небось и твои мозги раскисли и поглупели от этой жары.

Моего попугая зовут не попкой и не другим каким-нибудь птичьим названием, а Иваном Демьянычем. Это имя получил он совершенно случайно. Однажды мой человек Поликарп, чистя его клетку, вдруг сделал открытие, без которого моя благородная птица и доселе величалась бы попкой... Лентяя вдруг ни с того ни с сего осенила мысль, что нос моего попугая очень похож на нос нашего деревенского лавочника Ивана Демьяныча, и с той поры за попугаем навсегда осталось имя и отчество длинноносого лавочника. С легкой руки Поликарпа и вся деревня окрестила мою диковинную птицу в Ивана Демьяныча. Волею Поликарпа птица попала в люди, а лавочник утерял свое настоящее прозвище: он до

конца дней своих будет фигурировать в устах деревенщины, как «следователей попугай».

Ивана Демьяныча я купил у матери моего предшественника, судебного следователя Пospелова, умершего незадолго перед моим назначением. Я купил его вместе со старинною дубовою мебелью, кухонным хламом и всем вообще хозяйством, оставшимся после покойника. Мои стены до сих пор еще украшают фотографические карточки его родственников, а над моею кроватью всё еще висит портрет самого хозяина. Покойник, худощавый, жилистый человек с рыжими усами и большой нижней губой, сидит, выпучив глаза, в полинялой ореховой раме и не отрывает от меня глаз всё время, пока я лежу на его кровати... Я не снял со стен ни одной карточки, короче говоря — я оставил квартиру такой же, какою и принял. Я слишком ленив для того, чтобы заниматься собственным комфортом, и не мешаю висеть на моих стенах не только покойникам, но даже и живым, если последние того пожелают<sup>[2]</sup>. — А. Ч.]

Ивану Демьянычу было так же душно, как и мне. Он ерошил свои перья, оттопыривал крылья и громко выкрикивал фразы, выученные им у моего предшественника Пospелова и Поликарпа. Чтобы занять чем-нибудь свой послеобеденный досуг, я сел перед клеткой и стал наблюдать за движениями попугая, старательно искавшего и не находившего выхода из тех мук, которые причиняли ему духота и насекомые, обитавшие в его перьях... Бедняжка казался очень несчастным...

— А в котором часу они просыпаются? — донесся до меня чей-то бас из передней...

— Как когда! — отвечал голос Поликарпа. — Когда и в пять просыпается, а когда и до утра дрыхнет... Известно, делать нечего...

— Вы ихний камердинер будете?

— Прислуга. Ну, не мешай мне, замолчи... Нешто не видишь, что я читаю?

Я заглянул в переднюю. Там, на большом красном сундуке, валялся мой Поликарп и, по обыкновению, читал какую-то книгу. Впившись своими сонными, никогда не моргающими глазами в книгу, он шевелил губами и хмурился. Видимо, его раздражало присутствие постороннего лица, высокого мужика-бородача, стоявшего перед сундуком и тщетно старавшегося завязать беседу. При моем появлении мужик сделал шаг от сундука и по-солдатски вытянулся в струнку. Поликарп состроил недовольное лицо и, не отрывая глаз от книги, слегка приподнялся.

— Что тебе нужно? — обратился я к мужику.

— Я от графа, ваше благородие. Граф изволили вам кланяться и



просили вас немедленно к себе-с...

— Разве граф приехал? — удивился я.

— Точно так, ваше благородие... Вчерась ночью приехали... Письмо вот извольте-с...

— Опять черти принесли! — проговорил мой Поликарп. — Два лета без него покойно прожили, а нынче опять свинюшник в уезде заведет. Опять сраму не оберешься.

— Молчи, тебя не спрашивают!

— Меня и спрашивать не надо... Сам скажу. Опять будете от него в пьяном безобразии приезжать и в озере купаться, как есть, во всем костюме... Чисть потом! И за три дня не вычистишь!

— Что теперь граф делает? — спросил я мужика...

— Изволили обедать садиться, когда меня к вам посылали... До обеда рыбку удил в купальне-с... Как прикажете отвечать?

Я распечатал письмо и прочел в нем следующее:

«Милый мой Лекок! Если ты еще жив, здравствуешь и еще не забыл своего всепьянейшего друга, то, ни минуты не медля, облакайся в свои одежды и мчись ко мне. Приехал только прошлую ночью, но уже умираю от скуки. Нетерпение, с которым я ожидаю тебя, не знает границ. Хотел было сам съездить за тобой и увезти тебя в мою берлогу, но жара сковала все мои члены. Сажу на одном месте и обмахиваюсь веером. Ну, как живешь ты? Как поживает твой умнейший Иван Демьяныч? Всё еще воюешь со своим педантом Поликарпом? Приезжай скорей и рассказывай.

*Твой А. К.»*

Не нужно было глядеть на подпись, чтобы в крупном, некрасивом почерке узнать пьяную, редко пишущую руку моего друга, графа Алексея Карнеева. Краткость письма, претензия его на некоторую игривость и бойкость свидетельствовали, что мой недалекий друг много изорвал почтовой бумаги, прежде чем сумел сочинить это письмо.

В письме отсутствовало местоимение «который» и старательно обойдены деепричастия — то и другое редко удастся графу в один присест.

— Как прикажете ответить? — повторил мужик.

Я не сразу ответил на этот вопрос, да и всякий чистоплотный человек промедлил бы на моем месте. Граф любил меня и искреннейше

навязывался ко мне в друзья, я же не питал к нему ничего похожего на дружбу и даже не любил его; честнее было бы поэтому прямо раз навсегда отказаться от его дружбы, чем ехать к нему и лицемерить. К тому же ехать к графу — значило еще раз окунуться в жизнь, которую мой Поликарп величал «свинюшником» и которая два года тому назад, во всё время до отъезда графа в Петербург, расшатывала мое крепкое здоровье и сушила мой мозг. Эта беспутная, необычная жизнь, полная эффектов и пьяного бешенства, не успела подорвать мой организм, но зато сделала меня известным всей губернии... Я популярен...

Рассудок говорил мне всю сущую правду, краска стыда за недавнее прошлое разливалась по моему лицу, сердце сжималось от страха при одной мысли, что у меня не хватит мужества отказаться от поездки к графу, но я не долго колебался. Борьба продолжалась не более минуты.

— Кланяйся графу, — сказал я посланному, — и поблагодари за память... Скажи, что я занят и что.... Скажи, что я...

И в тот самый момент, когда с моего языка готово уже было сорваться решительное «нет», мною вдруг овладело тяжелое чувство... Молодой человек, полный жизни, сил и желаний, заброшенный волею судеб в деревенские дебри, был охвачен чувством тоски, одиночества...

Вспомнился мне графский сад с роскошью его прохладных оранжерей и полумраком узких, заброшенных аллей... Эти аллеи, защищенные от солнца сводом из зеленых, сплетающихся ветвей старушек-лип, знают меня... Знают они и женщин, которые искали моей любви и полумрака... Вспомнилась мне роскошная гостиная, с сладкою ленью ее бархатных диванов, тяжелых портьер и ковров, мягких, как пух, с ленью, которую так любят молодые, здоровые животные... Пришла мне на память моя пьяная удаль, не знающая границ в своей шире, сатанинской гордости и презрении к жизни. И мое большое тело, утомленное сном, вновь захотело движений...

— Скажи, что я буду!

Мужик поклонился и вышел.

— Знал бы, не впускал его, чёрта! — проворчал Поликарп, быстро и бесцельно перелистывая книгу.

— Оставь книгу и поди оседлай Зорьку! — сказал я строго. — Живо!

— Живо... Как же, беспременно... Так вот возьму и побегу... Добро бы за дедом ехал, а то поедет чёрту рога ломать!

Это было сказано полушёпотом, но так, чтоб я слышал. Лакей, прошептавши дерзость, вытянулся передо мной и, презрительно ухмыляясь, стал ожидать ответной вспышки, но я сделал вид, что не

слышал его слов. Мое молчание — лучшее и острейшее орудие в сражениях с Поликарпом. Это презрительное пропускание мимо ушей его ядовитых слов обезоруживает его и лишает почвы. Оно как наказание действует сильнее, чем подзатыльник или поток ругательных слов... Когда Поликарп вышел на двор седлать Зорьку, я заглянул в книгу, которую помешал ему читать... Это был «Граф Монте-Кристо», страшный роман Дюма... Мой цивилизованный дурак читает всё, начиная с вывесок питейных домов и кончая Огюстом Контом, лежащим у меня в сундуке вместе с другими мною не читаемыми, заброшенными книгами; но из всей массы печатного и писанного он признает одни только страшные, сильно действующие романы с знатными «господами», ядами и подземными ходами, остальное же он окрестил «чепухой». Об его чтении мне придется еще говорить в будущем, теперь же — ехать! Через четверть часа копыта моей Зорьки уже вздымали пыль по дороге от деревни до графской усадьбы. Солнце было близко к своему ночлегу, но жар и духота давали еще себя чувствовать... Накаленный воздух был неподвижен и сух, несмотря на то, что дорога моя лежала по берегу громаднейшего озера... Справа видел я водную массу, слева ласкала мой взгляд молодая, весенняя листва дубового леса, а между тем мои щеки переживали Сахару.

«Быть грозе!» — подумал я, мечтая о хорошем, холодном ливне...

Озеро тихо спало. Ни одним звуком не приветствовало оно полета моей Зорьки, и лишь писк молодого кулика нарушал гробовое безмолвие неподвижного великана. Солнце гляделось в него, как в большое зеркало, и заливало всю его ширь от моей дороги до далекого берега ослепительным светом. Ослепленным глазам казалось, что не от солнца, а от озера берет свой свет природа.

Зной вогнал в дремоту и жизнь, которою так богато озеро и его зеленые берега... Попрятались птицы, не плескалась рыба, тихо ждали прохлады полевые кузнечики и сверчки. Кругом была пустыня. Лишь изредка моя Зорька вносила меня в густое облако прибрежных комаров, да вдали на озере еле шевелились три черные лодочки старика Михея, нашего рыболова, взявшего на откуп всё озеро.

Я ехал не по прямой линии, а по окружности, какою представлялись берега круглого озера. Ехать по прямой линии можно было только на лодке, едущие же сухим путем делают большой круг и проигрывают около восьми верст. Во всё время пути я, глядя на озеро, видел противоположный глинистый берег, над которым белела полоса цветшего черешневого сада, из-за черешен высилась графская клуня, усеянная разноцветными голубями, и белела маленькая колокольня графской церкви. У глинистого

берега стояла купальня, обитая парусом; на перилах сушились простыни. Всё это я видел, и моим глазам казалось, что меня отделяет от моего приятеля-графа какая-нибудь верста, а между тем, чтобы добраться до графской усадьбы, мне нужно было проскакать шестнадцать верст.

На пути я думал о своих странных отношениях к графу. Интересно мне было дать себе в них отчет, регулировать их, но — увы! — этот отчет оказался непосильной задачей. Сколько я ни думал, ни решал, а в конце концов пришлось остановиться на заключении, что я плохой знаток самого себя и вообще человека. Люди, знавшие меня и графа, различно истолковывают наши взаимные отношения. Узкие лбы, не видящие ничего дальше своего носа, любят утверждать, что знатный граф видел в «бедном и незнатном» судебном следователе хорошего прихвостня-собутыльника. Я, пишущий эти строки, по их разумению, ползал и пресмыкался у графского стола ради крох и огрызков! По их мнению, знатный богач, пугало и зависть всего С — го уезда, был очень умен и либерален; иначе тогда непонятно было бы милостивое снисхождение до дружбы с неимущим следователем и тот сущий либерализм, который сделал графа нечувствительным к моему «ты». Люди же поумнее объясняют наши близкие отношения общностью «духовных интересов». Я и граф — сверстники. Оба мы кончили курс в одном и том же университете, оба мы юристы и оба очень мало знаем: я знаю кое-что, граф же забыл и утопил в алкоголе всё, что знал когда-нибудь. Оба мы гордецы и, в силу каких-то одним только нам известных причин, как дикари, чуждаемся общества. Оба мы не стесняемся мнением света (т. е. С — го уезда), оба безнравственны и оба плохо кончим. Таковы связующие нас «духовные интересы». Более этого ничего не могут сказать о наших отношениях знавшие нас люди.

Они, конечно, сказали бы более, если бы знали, как слаба, мягка и податлива натура друга моего графа и как силен и крепок я. Они многое сказали бы, если бы знали, как любил меня этот тщедушный человек и как я его не любил! Он первый предложил мне свою дружбу, и я первый сказал ему «ты», но с какою разницей в тоне! Он, в припадке хороших чувств, обнял меня и робко попросил моей дружбы — я же, охваченный однажды чувством презрения, безгливости, сказал ему:

— Полно тебе молоть чепуху!

И это «ты» он принял как выражение дружбы и стал носить его, платя мне честным, братским «ты»...

Да, лучше и честнее я сделал бы, если бы повернул свою Зорьку и поехал назад к Поликарпу и Ивану Демьянычу.

Впоследствии я думал не раз: сколько несчастий не пришлось бы мне

перенести на своих плечах и сколько добра принес бы я своим ближним, если бы в этот вечер у меня хватило решимости поворотить назад, если бы моя Зорька взбесилась и унесла меня подальше от этого страшного большого озера! Сколько мучительных воспоминаний не давили бы теперь моего мозга и не заставляли бы мою руку то и дело оставлять перо и хвататься за голову! Но не стану забегать вперед, тем более, что впереди придется еще много раз останавливаться на горечи. Теперь о веселом...

Моя Зорька внесла меня в ворота графской усадьбы. У самых ворот она споткнулась, и я, потеряв стремя, чуть было не свалился на землю.

— Худой знак, барин! — крикнул мне какой-то мужик, стоявший у одной из дверей длинных графских конюшен.

Я верю в то, что человек, упавший с лошади, может сломать себе шею, но не верую в предзнаменования. Отдав повода мужику и обивая хлыстом пыль с ботфортов, я побежал в дом. Меня никто не встретил. Окна и двери в комнатах были открыты настежь, но, несмотря на это, в воздухе стоял тяжелый, странный запах. То была смесь запаха ветхих, заброшенных покоев с приятным, но едким, наркотическим запахом тепличных растений, недавно принесенных из оранжереи в комнаты... В зале, на одном из диванов, обитых светло-голубой шёлковой материей, лежали две помятые подушки, а перед диваном на круглом столе я увидел стакан с несколькими каплями жидкости, распространявшей запах крепкого рижского бальзама. Всё это говорило за то, что дом обитаем, но я, обойдя все одиннадцать комнат, не встретил ни одной живой души. В доме царила такая же пустыня, как и вокруг озера...

Из так называемой «мозаиковой» гостиной вела в сад большая стеклянная дверь. Я с шумом отворил ее и по мраморной террасе спустился в сад. Тут, пройдя несколько шагов по аллее, я встретил девяностолетнюю старуху Настасью, бывшую когда-то нянькой у графа. Это — маленькое, сморщенное, забытое смертью существо, с лысой головкой и колючими глазами. Когда глядишь на ее лицо, то невольно припоминаешь прозвище, данное ей дворней: «Сычиха»... Увидев меня, она вздрогнула и чуть не уронила стакан со сливками, который она несла обеими руками.

— Здорово, Сычиха! — сказал я ей.

Она искоса поглядела на меня и молча прошла мимо... Я взял ее за плечо...

— Не бойся, дура... Где граф?

Старуха показала себе на уши.

— Ты глуха? А давно ты оглохла?

Старуха, несмотря на свой преклонный возраст, отлично слышит и

видит, но находит нелишним клеветать на свои органы чувств... Я пригрозил ей пальцем и отпустил ее.

Пройдя еще несколько шагов, я услышал голоса, а немного погодя увидел и людей. В том месте, где аллея расширялась в площадку, окруженную чугунными скамьями, под тенью высоких белых акаций стоял стол, на котором блестел самовар. Около стола говорили. Я тихо подошел по траве к площадке и, скрывшись за сиреневый куст, стал искать глазами графа.

Мой друг, граф Карнеев, сидел за столом на складном решетчатом стуле и пил чай. На нем был пестрый халат, в котором я видел его два года тому назад, и соломенная шляпа. Лицо было озабочено, сосредоточено, сжато в складки, так что человек, не знакомый с ним, мог бы подумать, что его мучит в данную минуту солидная мысль, забота... Наружно граф нисколько не изменился за время нашей двухлетней разлуки. То же маленькое худое тело, жидкое и дряблое, как тело коростеля. Те же узкие чахоточные плечи с маленькой рыженькой головкой. Носик по-прежнему розов, щеки, как и два года тому назад, отвисают тряпочками. На лице ничего смелого, сильного, мужественного... Всё слабо, апатично и вяло. Внушительны одни только большие, отвисающие вниз усы. Моему другу кто-то сказал, что ему идут длинные усы. Он поверил и теперь каждое утро меряет, насколько длиннее стала растительность над его бледными губами. С этими усами он напоминает усатого, но очень молодого и хилого котенка.

Рядом с графом за тем же столом сидел какой-то неизвестный мне толстый человек с большой стриженной головой и очень черными бровями. Лицо этого было жирно и лоснилось, как спелая дыня. Усы длиннее, чем у графа, лоб маленький, губы сжаты, и глаза лениво глядят на небо... Черты лица расплылись, но, тем не менее, они жестки, как высохшая кожа. Тип не русский... Толстый человек был без сюртука и без жилета, в одной сорочке, на которой темнели мокрые от пота места. Он пил не чай, а зельтерскую воду.

В почтительном отдалении от стола стоял плотный, приземистый человечек с красным, жирным затылком и оттопыренными ушами. Это был управляющий графа, Урбенин. Ради приезда его сиятельства, он нарядился в новую черную пару и теперь испытывал муки. Пот ручьями лил с его красного, загоревшего лица. Рядом с управляющим стоял мужик, приезжавший ко мне с письмом. Только тут я заметил, что у этого мужика не было одного глаза. Вытянувшись в струнку и не позволяя себе ни малейшего движения, он стоял, как статуя, и ждал вопросов.

— Взять бы вот у тебя, Кузьма, твою нагайку да отшпандорить тебя во

все корки, — говорил ему с расстановкой своим внушительным и мягким баском управляющий. — Разве можно так неряшливо исполнять господские приказания? Ты должен был просить их пожаловать сюда немедленно и узнать, когда именно они могут быть?

— Да, да, да... — нервничал граф. — Ты должен был всё узнать! Он сказал: буду! Но ведь этого недостаточно! Он мне сейчас нужен! Обязательно сейчас! Ты его просил, а он тебя не понял!

— На что он тебе так понадобился? — спросил графа толстяк.

— Мне нужно его видеть!

— Только-то? А по-моему, Алексей, этот твой следователь лучше бы сделал, если бы сегодня посидел у себя дома. Мне теперь не до гостей.

Я сделал большие глаза. Что значило это хозяйское, повелительное «мне»?

— Но ведь это не гость! — сказал умоляющим голосом мой друг. — Он не помешает тебе отдохнуть после дороги. С ним, пожалуйста, не церемонься!.. Увидишь, что это за человек! Ты сразу его полюбишь и подружишься с ним, голубчик!

Я вышел из-за сиреневых кустов и направился к столу. Граф увидел меня, узнал, и на просиявшем лице его заиграла улыбка.

— Вот и он! Вот и он! — заговорил он, краснея от удовольствия и выскакивая из-за стола. — Как это мило с твоей стороны!

И, подбежав ко мне, он подскочил, обнял меня и своими жесткими усами несколько раз поцарапал мою щеку. За поцелуями следовало продолжительное рукопожатие и засматривание мне в глаза...

— А ты, Сергей, нисколько не изменился! Всё тот же! Такой же красавец и силач! Спасибо, что уважил и приехал!

Освободившись от графских объятий, я поздоровался с управляющим, моим хорошим знакомым, и сел за стол.

— Ах, голубчик! — продолжал встревоженный и обрадованный граф. — Если бы ты знал, как мне приятно видеть твою серьезную физиономию! Ты незнаком? Позволь тебе представить: мой хороший друг Каэтан Казимирович Пшехоцкий. А это вот, — продолжал он, указав толстяку на меня, — мой хороший, давнишний друг Сергей Петрович Зиновьев! Здешний следователь...

Чернобровый толстяк слегка приподнялся и подал мне свою жирную, ужасно потную руку.

— Очень приятно, — пробормотал он, рассматривая меня. — Очень рад.

Изливши свои чувства и успокоившись, граф налил мне стакан

холодного красно-бурого чая и придвинул к моим рукам ящик с печеньями.

— Кушай... Проездом через Москву у Эйнема купил. А я на тебя сердит, Сережа, так сердит, что даже хотел поругаться с тобой!.. Мало того, что ты не написал мне в эти два года ни строчки, но даже не удостоил ответом ни одного моего письма! Это не по-дружески!

— Я не умею писать писем, — сказал я, — да кстати же у меня нет и времени для переписки. И о чем, скажи, пожалуйста, я мог писать тебе?

— Мало ли о чем?

— Право, не о чем. Я признаю письма только трех сортов: любовные, поздравительные и деловые. Первых я не писал потому, что ты не женщина и я в тебя не влюблен, вторые тебе не нужны, а от третьих мы избавлены, так как у нас с тобой отродясь общих дел не было.

— Это, положим, так, — согласился граф, быстро и охотно со всем соглашающийся, — но все-таки мог бы хоть строчку... И потом, как рассказывает вот Петр Егорыч, ты за все два года ни разу не наведлся сюда, точно за тысячу верст живешь или... брезгуешь моим добром. Мог бы здесь пожить, поохотиться. И мало ли что могло здесь без меня случиться!

Граф говорил много и долго. Раз начавши говорить о чем-нибудь, он болтал языком без умолку и без конца, как бы мелка и жалка ни была тема.

В произнесении звуков он был неутомим, как мой Иван Демьяныч. Я едва выносил его за эту способность. Остановил его на этот раз лакей Илья, высокий, тонкий человек в поношенной пятнистой ливрее, поднесший графу на серебряном подносе рюмку водки и полстакана воды. Граф выпил водку, запил водой и, поморщившись, покачал головой.

— А ты еще не бросил походя дуть водку! — сказал я.

— Не бросил, Сережа!

— Ну, хоть брось пьяную манеру морщиться и качать головой! Противно.

— Я, голубчик, всё бросаю... Мне доктора запретили пить. Пью теперь только потому, что сразу нездорово бросать... Нужно постепенно...

Я поглядел на больное, истрепавшееся лицо графа, на рюмку, на лакея в желтых башмаках, поглядел я на чернобрового поляка, который с первого же раза показался мне почему-то негодяем и мошенником, на одноглазого вытянувшегося мужика, — и мне стало жутко, душно... Мне вдруг захотелось оставить эту грязную атмосферу, предварительно открыв графу глаза на всю мою к нему безграничную антипатию... Был момент, когда я готов уже был подняться и уйти... Но я не ушел... Мне помешала (стыдно сознаться!) простая физическая лень...



— Дай и мне водки! — сказал я Илье.

Продолговатые тени стали ложиться на аллею и нашу площадку...

Далекое кваканье лягушек, карканье ворон и пение иволги приветствовали уже закат солнца. Наступал весенний вечер...

— Посади Урбенина, — шепнул я графу. — Он стоит перед тобой, как мальчишка.

— Ах, сам я и не догадался! Петр Егорыч, — обратился граф к управляющему, — садитесь, пожалуйста! Будет вам стоять!

Урбенин сел и поглядел на меня благодарными глазами. Вечно здоровый и веселый, он показался мне на этот раз больным, скучающим. Лицо его было точно помято, сонно, и глаза глядели на нас лениво, нехотя...

— Что у нас новенького, Петр Егорыч? Что хорошенького? — спросил его Карнеев. — Нет ли чего-нибудь этакого... из ряда вон выдающегося?

— Всё по-старому, ваше сиятельство...

— Нет ли того... новеньких девочек, Петр Егорыч?

Нравственный Петр Егорыч покраснел.

— Не знаю, ваше сиятельство... Я в это не вхожу.

— Есть, ваше сиятельство, — пробасил всё время до этого молчавший одноглазый Кузьма. — И очень даже стоящие.

— Хорошие?

— Всеякие есть, ваше сиятельство, на всякий вкус... И brunetki, и баландинки, и всеякие...

— Ишь ты!.. Постой, постой... Я теперь припоминаю тебя... Мои бывший Лепорелло, секретарь по части... Тебя, кажется, Кузьмой зовут?

— Точно так...

— Помню, помню... Какие же теперь у тебя есть на примете? Небось, всё мужички?

— Больше, известно, мужички, но есть и почище...

— Где ж это ты почище нашел? — спросил Ильа, щуря на Кузьму глаза.

— На Святой к почтарю свояченица приехала... Настась Иванна... Девка вся на винтах — сам бы ел, да деньги надобны... Кровь во всю щеку и прочее такое... Есть и того почище. Только вас и дожидалась, ваше сиятельство. Молоденькая, пухлявенькая, шустренькая... красота! Этакой красоты, ваше сиятельство, и в Питинбурге не изволили видеть...

— Кто же это?

— Оленька, лесничего Скворцова дочка.

Под Урбениным затрепал стул. Упираясь руками о стол и багровея,

управляющий медленно поднялся и повернул свое лицо к одноглазому мужику. Выражение утомления и скуки уступило свое место сильному гневу...

— Замолчи, хам! — проворчал он. — Гадина одноглазая!.. Говори, что хочешь, но не смей ты трогать порядочных людей!

— Я вас не трогаю, Петр Егорыч, — невозмутимо проговорил Кузьма.

— Я не про себя говорю, болван! Впрочем... простите меня, ваше сиятельство, — обратился управляющий к графу. — Простите, что я сделал сцену, но я просил бы ваше сиятельство запретить вашему Лепорелло, как вы изволили его назвать, распространять свое усердие на особ, достойных всякого уважения!

— Я ничего... — пролепетал наивный граф. — Он ничего не сказал такого особенного.

Обиженный и взволнованный до крайности, Урбенин отошел от стола и стал к нам боком. Скрестив на груди руки и мигая глазами, он спрятал от нас свое багровое лицо за веточку и задумался.

Не предчувствовал ли этот человек, что в недалеком будущем его нравственному чувству придется испытать оскорбления в тысячу раз горшие?

— Не понимаю, чего он обиделся! — шепнул мне граф. — Вот чудак! Оскорбительного ведь ничего не было сказано.

После двухлетнего трезвого житья рюмка водки подействовала на меня слегка опьяняюще. В мозгу и по всему телу моему разлилось чувство легкости, удовольствия. К тому же я стал ощущать вечернюю прохладу, которая мало-помалу вытесняла дневную духоту... Я предложил пройтись. Из дома принесли графу и его новому другу-поляку их сюртуки, и мы пошли. За нами последовал и Урбенин.

Графский сад, по которому мы гуляли, ввиду его поражающей роскоши, достоин особого, специального описания. В ботаническом, хозяйственном и во многих других отношениях он богаче и грандиознее всех садов, какие я когда-либо видел. Кроме вышеописанных поэтических аллей с зелеными сводами, вы найдете в нем всё, чего только может требовать от сада взгляд прихотливого баловня. Тут и всевозможные, туземные и иностранные, фруктовые деревья, начиная с черешен и слив и кончая крупным, с гусиное яйцо, абрикосом. Шелковица, барбарис, французские бергамотовые деревья и даже маслина попадают на каждом шагу... Тут и полуразрушенные, поросшие мхом гроты, фонтаны, прудики, предназначенные для золотой рыбы и ручных карпов, горы, беседки, дорогие оранжереи... И эта редкая роскошь, собранная руками дедов и

отцов, это богатство больших, полных роз, поэтических гротов и бесконечных аллей было варварски заброшено и отдано во власть сорным травам, воровскому топору и галкам, бесцеремонно вившим свои уродливые гнезда на редких деревьях! Законный владелец этого добра шел рядом со мной, и ни один мускул его испитого и сытого лица не дрогнул при виде запущенности и кричащей человеческой неряшливости, словно не он был хозяином сада. Раз только, от нечего делать, он заметил управляющему, что недурно было бы, если бы дорожки были посыпаны песочком. Он обратил внимание на отсутствие никому не нужного песочка, а не заметил голых, умерших за холодную зиму деревьев и коров, гулявших по саду. На его замечание Урбенин ответил, что для надзора за садом нужно иметь человек десять работников, а так как его сиятельство не изволит жить у себя в имении, то затраты на сад являются роскошью ненужной и непроизводительной. Граф, конечно, согласился с этим доводом.

— Да и некогда мне, признаться! — махнул рукой Урбенин. — Летом в поле, зимой в городе хлеб продаешь... Не до сада тут!

Главная, так называемая «генеральная» аллея, вся прелесть которой состояла в ее старых, широких липах и в массе тюльпанов, тянувшихся двумя пестрыми полосами во всю ее длину, оканчивалась вдали желтым пятном. То была желтая каменная беседка, в которой когда-то был буфет с биллиардом, кеглями и китайской игрой. Мы бесцельно направились к этой беседке... У ее входа мы были встречены живым существом, несколько расстроившим нервы моих не храбрых спутников.

— Змея! — вдруг взвизгнул граф, хватая меня за руку и бледнея. — Посмотри!

Поляк сделал шаг назад, остановился, как вкопанный, и растопырил руки, точно загораживая путь привидению... На верхней ступени каменной полуразрушенной лестнички лежала молодая змея из породы наших обыкновенных русских гадюк. Увидев нас, она подняла головку и зашевелилась... Граф еще раз взвизгнул и спрятался за мою спину.

— Не бойтесь, ваше сиятельство!.. — сказал лениво Урбенин, заноса ногу на первую ступень...

— А если укусит?

— Не укусит. Да и вообще, кстати говоря, вред от укушения этих змей преувеличен. Я был раз укушен старой змеей — и не умер, как видите.

— Человеческое жало опаснее змеиного! — не преминул сморальничать со вздохом Урбенин.

И подлинно. Не успел управляющий пройти две-три ступени, как змея вытянулась во всю свою длину и с быстротою молнии юркнула в щель

между двух плит. Войдя в беседку, мы увидели другое живое существо. На старом, полинявшем бильярде с порванным сукном лежал старик невысокого роста в синем пиджаке, полосатых панталонах и жокейском картузике. Он сладко и бесмятежно спал. Вокруг его беззубого, похожего на дупло рта и на остром носу хозяйничали мухи. Худой, как скелет, с открытым ртом и неподвижный, он походил на труп, только что принесенный из мертвецкого подвала для вскрытия.

— Франц! — толкнул его Урбенин. — Франц!

После пяти-шести толчков Франц закрыл рот, приподнялся, обвел всех нас глазами и опять лег. Через минуту рот его был опять открыт, и мух, гулявших около его носа, опять беспокоило легкое дрожанье от храпа.

— Спит, свинья беспутная! — вздохнул Урбенин.

— Это, кажется, наш садовник Трихер? — спросил граф.

— Он самый... Вот так вот каждый день... Днем спит как убитый, а ночью в карты играет. Сегодня, сказывают, до шести часов утра играл...

— Во что же он играет?

— В азартные игры... Больше всё в стуколку.

— Ну, такие господа плохо дело делают... Жалованье они только даром берут.

— Это я не для того вам сказал, ваше сиятельство, — спохватился Урбенин, — чтобы жаловаться или выражать неудовольствие, а просто так... хотелось пожалеть, что такой способный человек и страсти подвержен. А человек он трудящийся, ничего себе... недаром жалованье берет,

Мы еще раз взглянули на картежника Франца и вышли из беседки. Отсюда мы направились к садовой калитке, выходившей в поле.

В редком романе не играет солидной роли садовая калитка. Если вы сами не подметили этого, то справьтесь у моего Поликарпа, проглотившего на своем веку множество страшных и нестрашных романов, и он, наверное, подтвердит вам этот ничтожный, но все-таки характерный факт.

Мой роман тоже не избавлен от калитки. Но моя калитка разнится от других тем, что моему перу придется провести сквозь нее много несчастных и почти ни одного счастливого, что бывает в других романах только в обратном порядке. И, что хуже всего, эту калитку мне приходилось уже раз описывать, но не как романисту, а как судебному следователю... У меня проведет она сквозь себя более преступников, чем влюбленных.

Через четверть часа мы, подпираясь тростями, плелись на гору, называемую у нас Каменной Могилой. У деревень существует легенда, что под этой каменной грудой покоится тело какого-то татарского хана,

боявшегося, чтобы после его смерти враги не надругались над его прахом, а потому и завещавшего взвалить на себя гору камня. Но эта легенда едва ли справедлива... Каменные пласты, их взаимное положение и величина исключают вмешательство человеческих рук в происхождение этой горы. Она стоит особняком в поле и напоминает собою опрокинутый колпак.

Взобравшись на нее, мы увидели всё озеро во всей его пленительной шири и не поддающейся описанию красоте. Солнце уже не отражалось в нем; оно зашло и оставило после себя широкую багровую полосу, окрасившую окрестности в приятный, розовато-желтый цвет. У наших ног расстиралась графская усадьба с ее домом, церковью и садом, а вдали, по ту сторону озера, серела деревенька, в которой волею судеб я имел свою резиденцию. Поверхность озера была по-прежнему неподвижна. Лодочки старика Михея, отделившись друг от друга, спешили к берегу.

В сторону от моей деревеньки темнела железнодорожная станция с дымком от локомотива, а позади нас, по другую сторону Каменной Могилы, расстиралась новая картина. У подножия Могилы шла дорога, по бокам которой высились старики-тополи. Дорога эта вела к графскому лесу, тянувшемуся до самого горизонта.

Я и граф стояли на горе. Урбенин и поляк, как люди тяжелые, предпочли подождать нас внизу, на дороге.

— Что это за шишка? — спросил я графа, кивнув на поляка. — Где ты его подцепил?

— Это очень милый господин, Сережа, очень милый! — встревоженно заговорил граф. — Ты скоро подружишься с ним!

— Ну, это едва ли. Отчего он всё молчит?

— По натуре он молчалив! Но зато как умен!

— Да что он за человек?

— В Москве я с ним познакомился. Он очень милый. После ты всё узнаешь, Сережа, а теперь не спрашивай. Спустимся?

Мы спустились с Могилы и пошли по дороге к лесу. Стало заметно темнеть. Из лесу доносилось кукуканье кукушки и голосовые вздрагивания утомленного, вероятно, молодого соловья.

— Ау! ау! — слышали мы звонкий детский голосок, подходя к лесу. — Ловите меня!

И из лесу выбежала маленькая девочка, лет пяти, с белой, как лен, головкой и в голубом платье. Увидев нас, она звонко захохотала и, подпрыгивая, подскочила к Урбенину и обняла его колено. Урбенин поднял ее и поцеловал в щеку.

— Моя дочка Саша! — сказал он. — Рекомендую.

За Сашей гнался из лесу гимназист лет пятнадцати, сын Урбенина. Увидев нас, он в нерешимости снял шапку, надел и опять снял. За ним тихо двигалось красное пятно. Это пятно сразу приковало к себе наше внимание.

— Какое чудное видение! — воскликнул граф, хватая меня за руку. — Погляди! Какая прелесть! Что это за девочка? Я и не знал, что в моих лесах обитают такие наяды!

Я взглянул на Урбенина, чтобы спросить, что это за девушка, и, странно, только в этот момент заметил, что управляющий ужасно пьян. Он, красный как рак, покачнулся и схватил меня за локоть.

— Сергей Петрович! — зашептал он мне на ухо, обдавая меня спиртными парами, — умоляю вас — удержите графа от дальнейших замечаний относительно этой девушки. Он по привычке может лишнее сказать, а это в высшей степени достойная особа!

«В высшей степени достойная особа» представляла из себя девятнадцатилетнюю девушку с прекрасной белокурой головкой, добрыми голубыми глазами и длинными кудрями. Она была в ярко-красном, полудетском, полудевическом платье. Стройные, как иглы, ножки в красных чулках сидели в крошечных, почти детских башмачках. Круглые плечи ее всё время, пока я любовался ею, кокетливо ежились, словно им было холодно и словно их кусал мой взгляд.

— При таком молодом лице и такие развитые формы! — шепнул мне граф, потерявший еще в самой ранней молодости способность уважать женщин и не глядеть на них с точки зрения испорченного животного.

У меня же, помню, затеплилось в груди хорошее чувство. Я был еще поэтом и в обществе лесов, майского вечера и начинающей мерцать вечерней звезды мог глядеть на женщину только поэтом... Я смотрел на девушку в красном с тем же благоговением, с каким привык глядеть на леса, горы, лазурное небо. У меня еще тогда осталась некоторая доля сентиментальности, полученной мною в наследство от моей матери-немки.

— Кто это? — спросил граф.

— Это дочь лесничего Скворцова, ваше сиятельство! — сказал Урбенин.

— Это та Оленька, о которой говорил одноглазый мужик?

— Да, он упомянул ее имя, — ответил управляющий, глядя на меня умоляющими, большими глазами.

Девушка в красном пропустила нас мимо себя, по-видимому, не обращая на нас ни малейшего внимания. Глаза ее глядели куда-то в сторону, но я, человек, знающий женщин, чувствовал на своем лице ее зрачки.

— Кто из них граф? — услышал я позади нас ее шёпот.

— Вот этот, с длинными усами, — отвечал гимназист.

И мы слышали сзади себя серебристый смех... То был смех разочарованной... Она думала, что граф, владелец этих громадных лесов и широкого озера — я, а не этот пигмей с испытанным лицом и длинными усами...

Я услышал глубокий вздох, выходящий из коренастой груди Урбенина. Железный человек еле двигался.

— Отпусти управляющего, — шепнул я графу. — Он болен или... пьян.

— Вы, кажется, больны, Петр Егорыч! — обратился граф к Урбенину. — Вы мне не нужны, а потому я вас не задерживаю.

— Не беспокойтесь, ваше сиятельство. Благодарю вас за ваше внимание, но я не болен.

Я оглянулся... Красное пятно не двигалось и глядело нам вслед...

Бедная белокурая головка! Думал ли я в этот тихий, полный покоя майский вечер, что она впоследствии будет героиней моего беспокойного романа?

Теперь, когда я пишу эти строки, в мои теплые окна злобно стучит осенний дождь и где-то надо мной воет ветер. Я гляжу на темное окно и на фоне ночного мрака силюсь создать силою воображения мою милую героиню... И я вижу ее с ее невинно-детским, наивным, добрым личиком и любящими глазами. Мне хочется бросить перо и разорвать, сжечь то, что уже написано. К чему трогать память этого молодого, безгрешного существа?

Но тут же, около моей чернильницы, стоит ее фотографический портрет. Здесь белокурая головка представлена во всем суежном величии глубоко павшей красивой женщины. Глаза, утомленные, но гордые разворотом, неподвижны. Здесь она именно та змея, вред от укушения которой Урбенин не назвал бы преувеличенным.

Она дала буре поцелуй, и буря сломала цветок у самого корня. Много взято, но зато слишком дорого и заплачено. Читатель простит ей ее грехи...

Мы пошли по лесу.

Сосны скучны своим молчаливым однообразием. Все они одинакового роста, похожи одна на другую и во все времена года сохраняют свой вид, не зная ни смерти, ни весеннего обновления. Но зато привлекательны они своею угрюмостью: неподвижны, бесшумны, словно унылую думу думают.

— Не воротиться ли нам? — предложил граф.

На этот вопрос не последовало ответа. Поляку было решительно всё

равно, где бы ни быть, Урбенин не считал свой голос решающим, а я слишком обрадовался лесной прохладе и смолистому воздуху, чтобы поворотить назад. К тому же нужно было убить чем-нибудь, хотя бы простою прогулкой, время до ночи. Мысль о приближающейся дикой ночи сопровождалась сладким замиранием сердца. Я, стыдно сознаюсь, мечтал о ней и мысленно уже предвкушал ее наслаждение. А по тому нетерпению, с каким граф то и дело посматривал на часы, видно было, что и его терзало ожидание. Мы чувствовали, что понимали друг друга.

Около домика лесничего, ютившегося между сосен на маленькой квадратной площадке, нас встретили со звонким, певучим лаем две маленькие собаки желто-огненного цвета, неизвестной мне породы, гибкие, как угри, и лоснящиеся. Узнав Урбенина, они весело замахали хвостами и побежали к нему, из чего можно было заключить, что управляющий часто посещал домик лесничего. Тут же около домика встретил нас какой-то парень без сапог и без шапки, с крупными веснушками на удивленном лице. Минуту он глядел на нас молча, выпучив глаза, потом же, узнав, вероятно, графа, ахнул и опрометью побежал в домик.

— Я знаю, зачем он побежал, — засмеялся граф. — Я его помню... Это Митька.

Граф не обознался. Меньше чем через минуту Митька вышел из домика, неся на подносе рюмку водки и полстакана воды.

— На доброе здоровье, ваше сиятельство! — сказал он, поднося и улыбаясь во всё свое глупое, удивленное лицо.

Граф выпил водку, «закусил» водой, но на этот раз не поморщился. В ста шагах от домика стояла чугунная скамья, такая же старая, как и сосны. Мы сели на нее и занялись созерцанием майского вечера во всей его тихой красоте... Над нашими головами с карканьем летали испуганные вороны, с разных сторон доносилось соловьиное пение; это только и нарушало всеобщую тишину.

Граф не умеет молчать даже в тихий весенний вечер, когда человеческий голос менее всего приятен.

— Я не знаю, останешься ли ты доволен? — обратился он ко мне. — Я заказал к ужину уху из ершей и дичь. К водке будет холодная осетрина и поросенок с хреном.

Словно рассердясь на эту прозу, поэтические сосны вдруг зашевелили своими верхушками, и по лесу пронесся тихий ропот. Свежий ветерок пробежал по просеке и поиграл травой.

— Будет вам! — крикнул Урбенин собачонкам огненного цвета, мешавшим ему своими ласками закурить папиросу. — А мне сдается, что



сегодня будет дождь. По воздуху чувствую. Сегодня была такая ужасная жара, что не нужно быть ученым профессором, чтобы предсказать дождь. Для хлеба будет хорошо.

«А на что тебе хлеб, — подумал я, — если его граф пропьет? Незачем дождю и трудиться».

По лесу еще раз пробежал ветерок, но на этот раз более резкий. Сосны и трава зароптали громче.

— Пойдемте домой.

Мы встали и лениво поплелись назад, к домику.

— Лучше быть этой белокурой Оленькой, — обратился я к Урбенину, — и жить здесь со зверями, чем судебным следователем и жить с людьми... Покойнее. Не правда ли, Петр Егорыч?

— Чем ни быть, лишь бы на душе было покойно, Сергей Петрович.

— А у этой хорошенькой Оленьки покойно на душе?

— Одному только богу ведома чужая душа, но мне кажется, что ей не из чего беспокоиться. Горя не много, грехов — как у малолетка... Это очень хорошая девушка! Но вот, наконец, и небо про дождь заговорило...

Послышался грохот не то далекого экипажа, не то игры в кегли... Прогредел где-то вдаль за лесом гром... Митька, всё время следивший за нами, вздрогнул и быстро закрестился...

— Гроза! — встрепнулся граф. — Вот сюрприз! Этак нас дорогой дождь захватит... И темно как стало! Говорил: воротимся! Так нет, дальше пошел...

— Мы в домике грозу переждем, — предложил я.

— Зачем же в домике? — заговорил Урбенин, как-то странно мигая глазами. — Дождь будет идти всю ночь, так и вы всю ночь в домике просидите? А вы не извольте беспокоиться... Идите себе, а Митька побежит вперед, экипаж вам навстречу вышлет.

— Ничего, авось и не всю ночь дождь будет хлестать... Грозовые тучи обыкновенно скоро проходят... Кстати же я незнаком еще с новым лесничим, и хотелось бы с этой Оленькой поболтать... узнать, что за птичка...

— Я не прочь! — согласился граф.

— Но как вы туда пойдете, ежели... ежели там того... не прибрано? — залепетал встревоженно Урбенин. — Просидеть там в духоте, ваше сиятельство, в то время, когда дома быть можно... Не понимаю, что за удовольствие!.. А знакомиться с лесничим, ежели он болен...

Очевидно было, что управляющему сильно не хотелось, чтобы мы вошли в домик лесничего. Он даже растопырил руки, точно желая

загородить нам дорогу... Я понял по его лицу, что у него были причины не впускать нас. Уважаю я чужие причины и тайны, но на этот раз меня сильно подстрекнуло любопытство. Я настоял, и мы вошли в домик.

— В зал пожалуйста! — не сказал, а как-то особенно икнул, захлебываясь от радости, босой Митька...

Представьте вы себе самый маленький в мире зал с некрашеными деревянными стенами. Стены увешаны олеографиями «Нивы», фотографиями в раковинных, или, как они у нас называются, ракушковых рамочках и аттестатами... Один аттестат — благодарность какого-то барона за долголетнюю службу, остальные — лошадиные... Кое-где по стенам вьется плющ... В углу перед маленьким образом тихо теплится и слабо отражается в серебряной оправе синий огонек. У стен жмутся стулья, по-видимому, недавно купленные... Куплено много лишних, но и их поставили: девать некуда... Тут же теснятся кресла с диваном в белоснежных чехлах с оборками и кружевами и круглый лакированный стол. На диване дремлет ручной заяц... Уютно, чистенько и тепло... На всем заметно присутствие женщины. Даже этажерочка с книгами глядит как-то невинно, по-женски, словно ей так и хочется сказать, что на ней нет ничего, кроме слабеньких романов и смиренных стихов... Прелесть таких уютных, теплых комнаток чувствуется не так весною, как осенью, когда ищешь приюта от холода, сырости...

Митька с шумом, сопя, дуя и громко чиркая спичками, зажег две свечи и осторожно, как молоко, поставил их на стол. Мы сели на кресла, переглянулись и засмеялись...

— Николай Ефимыч больной лежит, — пояснил отсутствие хозяев Урбенин, — а Ольга Николаевна, должно быть, моих детей пошла провожать...

— Митька, двери заперты? — услышали мы слабый тенор из соседней комнаты.

— Заперты-с, Николай Ефимыч! — прохрипел Митька и полетел опрометью в соседнюю комнату.

— То-то... Смотри, чтобы все заперты были... — сказал тот же слабый голос. — На ключ, крепко-накрепко... Если воры будут лезть, то ты мне скажешь... Я их, мерзавцев, ружьем... подлецов таких...

— Беспременно-с, Николай Ефимыч!

Мы засмеялись и вопросительно поглядели на Урбенина. Тот покраснел и, чтобы скрыть свое смущение, начал поправлять на окне занавеску... Что сей сон значил? Мы опять переглянулись.

Но недоумевать было некогда. На дворе послышались поспешные

шаги, затем шум на крыльце и хлопанье дверью. В «зал» влетела девушка в красном.

— «Люб-лю гро-зу в на-ча-ле мая!» — запела она высоким, визжащим сопрано, прерывая свой визг смехом, но, увидев нас, она вдруг остановилась и умолкла.

Она сконфузилась и тихо, как овечка, пошла в комнату, откуда только что слышался голос ее отца, Николая Ефимыча.

— Не ожидала! — усмехнулся Урбенин.

Через несколько времени она тихо вошла, села на стул, ближайший к двери, и стала нас рассматривать. Смотрела она на нас смело, в упор, словно мы были не новые для нее люди, а животные зоологического сада. Минуту и мы глядели на нее молча, не двигаясь... Я согласился бы и год просидеть неподвижно и глядеть на нее — до того хороша она была в этот вечер. Свежий, как воздух, румянец, часто дышащая, поднимающаяся грудь, кудри, разбросанные на лоб, на плечи, на правую руку, поправляющую воротничок, большие блестящие глаза... всё это на одном маленьком теле, поглощаемое одним взглядом... Поглядишь один раз на это маленькое пространство и увидишь больше, чем если бы глядел целые века на нескончаемый горизонт... На меня глядела она серьезно, снизу вверх, вопрошающе; когда же ее глаза переходили с меня на графа или поляка, то я начинал читать в них обратное: взгляд сверху вниз и смех...

Первый заговорил я.

— Рекомендуюсь, — сказал я, вставая и подходя к ней, — Зиновьев... А это, рекомендую, мой друг, граф Карнеев... Просим прощения, что без приглашения вломились в ваш хорошенький домик... Мы, конечно, не сделали бы этого, если бы нас не загнала гроза...

— Но ведь от этого не развалится наш домик! — сказала она, смеясь и подавая мне руку.

Она показала мне прелестные зубы. Я сел рядом с ней на стул и рассказал ей о том, как неожиданно встретила на нашем пути гроза. Начался разговор о погоде — начале всех начал. Пока мы с ней беседовали, Митька уже успел два раза поднести графу водки и неразлучной с ней воды... Пользуясь тем, что я на него не смотрю, граф после обеих рюмок сладко поморщился и покачал головой.

— Вы, может быть, закусить желаете? — спросила меня Оленька и, не дожидаясь ответа, вышла из комнаты...

Первые капли застучали по стеклам... Я подошел к окну... Было уже совсем темно, и сквозь стекло я не увидел ничего, кроме ползущих вниз дождевых капель и отражения собственного носа. Блеснул свет от молнии

и осветил несколько ближайших сосен...

— Двери заперты? — услышал я опять слабый тенор. — Митька, поди, подлая твоя душа, запри двери! Мучение мое, господи!

Баба с двойным, перетянутым животом и с глупым озабоченным лицом вошла в зал, низко поклонилась графу и покрыла стол белой скатертью. За ней осторожно двигался Митька, неся закуски. Через минуту на столе стояли водка, ром, сыр и тарелка с какой-то жареной птицей. Граф выпил рюмку водки, но есть не стал. Поляк недоверчиво понюхал птицу и принялся ее резать.

— Уже начался дождь! Поглядите! — сказал я вошедшей Оленьке.

Девушка в красном подошла к моему окну, и в это самое время нас осветило на мгновение белым сиянием... Раздался наверху треск, и мне показалось, что что-то большое, тяжелое сорвалось на небе с места и с грохотом покатилося на землю... Оконные стекла и рюмки, стоявшие перед графом, содрогнулись и издали свой стеклянный звук... Удар был сильный...

— Вы боитесь грозы? — спросил я Оленьку.

Та прижала щеку к круглому плечу и поглядела на меня детски доверчиво.

— Боюсь, — прошептала она, немного подумав. — Гроза убила у меня мою мать... В газетах даже писали об этом... Моя мать шла по полю и плакала... Ей очень горько жилось на этом свете... Бог сжалился над ней и убил со своим небесным электричеством.

— Откуда вы знаете, что там электричество?

— Я училась... Вы знаете? Убитые грозой и на войне и умершие от тяжелых родов попадают в рай... Этого нигде не написано в книгах, но это верно. Мать моя теперь в раю. Мне кажется, что и меня убьет гроза когда-нибудь и что и я буду в раю... Вы образованный человек?

— Да...

— Стало быть, вы не будете смеяться... Мне вот как хотелось бы умереть. Одеться в самое дорогое, модное платье, какое я на днях видела на здешней богачке, помещице Шеффер, надеть на руки браслеты... Потом стать на самый верх Каменной Могилы и дать себя убить молнии так, чтобы все люди видели... Страшный гром, знаете, и конец...

— Какая дикая фантазия! — усмехнулся я, заглядывая в глаза, полные священного ужаса перед страшной, но эффектной смертью. — А в обыкновенном платье вы не хотите умирать?

— Нет... — покачала головой Оленька. — И так, чтобы все люди видели.

— Ваше теперешнее платье лучше всяких модных и дорогих платьев... Оно идет к вам. В нем вы похожи на красный цветок зеленого леса.

— Нет, это неправда! — наивно вздохнула Оленька. — Это платье дешевое, не может быть оно хорошим.

К нашему окну подошел граф с явным намерением поговорить с хорошенькой Оленькой. Мой друг говорит на трех европейских языках, но не умеет говорить с женщинами. Он как-то некстати постоял около нас, нелепо улыбнулся, промычал «мда» и отошел вспять, к графину с водкой.

— Вы, когда входили сюда в комнату, — сказал я Оленьке, — пели «Люблю грозу в начале мая». Разве эти стихи переложены на песню?

— Нет, я пою по-своему все стихи, какие только знаю.

Я случайно оглянулся назад. На нас глядел Урбенин. В глазах его я прочел ненависть, злобу, которые вовсе не идут к его доброму, мягкому лицу.

«Ревнует он, что ли?» — подумал я.

Бедняга, уловив мой вопросительный взгляд, поднялся со стула и пошел зачем-то в переднюю... Даже по его походке было заметно, что он был взволнован. Удары грома, один другого сильнее и раскатистее, стали повторяться всё чаще и чаще... Молния беспрерывно красила в свой приятный, ослепительный свет небо, и сосны, и мокрую почву... До конца дождя было еще далеко. Я отошел от окна к этажерке с книгами и занялся осмотром Оленькиной библиотеки. «Скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты», — но из добра, симметрично покоившегося на этажерке, трудно было вывести какое бы то ни было заключение об умственном уровне и «образовательном цензе» Оленьки. Туг была какая-то странная смесь. Три хрестоматии, одна книжка Борна, задачник Евтушевского, второй том Лермонтова, Шкляревский, журнал «Дело», поваренная книга, «Складчина»... Я мог бы насчитать вам еще более книг, но в то время, когда я взял с этажерки «Складчину» и начал ее перелистывать, дверь из другой комнаты отворилась, и в зал вошел субъект, сразу отвлекший мое внимание от Оленькиного образовательного ценза. Это был высокий жилистый человек в ситцевом халате и порванных туфлях, с достаточно оригинальным лицом. Лицо его, исписанное синими жилочками, было украшено фельдфебельскими усами и бачками и в общем напоминало птичью физиономию. Всё лицо было вытянуто вперед, словно стремилось к кончику носа... Такие лица называются, кажется, «кувшинными рылами». Маленькая головка этого субъекта сидела на длинной худощавой шейке с большим кадыком и покачивалась, как скворечня на ветре...

Странный человек обвел нас мутными, зелеными глазами и уставился на графа...

— Двери закрыты? — спросил он умоляющим голосом.

Граф поглядел на меня и пожал плечами...

— Не беспокойся, папаша! — сказала Оленька. — Всё закрыто... Иди в свою комнату!

— А сарай закрыт?

— Он немножко тово... трогается иногда, — шепнул Урбенин, показываясь из передней. — Боится воров и вот, как видите, всё насчет дверей хлопочет... Николай Ефимыч, — обратился он к странному субъекту, — иди к себе в комнату и ложись спать! Не беспокойся, всё закрыто!

— А окна закрыты?

Николай Ефимыч быстро обегал все окна, попробовал их запоры и, не взглянув на нас, зашаркал туфлями в свою комнату.

— Находит на него иногда, на беднягу, — начал пояснять по его уходе Урбенин. — Хороший, славный такой человек, знаете ли, семейный — и такая напасть! Чуть ли не каждое лето в уме мешается...

Я посмотрел на Оленьку. Та конфузливо, спрятав от нас свое лицо, приводила в порядок свои потревоженные книги. Ей, по-видимому, стыдно было за своего сумасшедшего отца.

— А экипаж приехал, ваше сиятельство! — сказал Урбенин. — Можете ехать, если желаете!

— Откуда же этот экипаж взялся? — спросил я.

— Я посылал за ним...

Через минуту я сидел с графом в карете, слушал раскаты грома и злился...

— Выжил-таки нас из домика этот Петр Егорыч, чёрт его возьми! — ворчал я, не на шутку рассердясь. — Так и не дал разглядеть эту Оленьку! Я не съел бы ее у него... Старый дурак! Всё время от ревности лопался... Он влюблен в эту девочку...

— Да, да, да... Представь, и я это заметил! И не впускал он нас в домик только из ревности и за экипажем послал из ревности... Ха-ха!

— Седина в бороду, а бес в ребро... Впрочем, брат, трудно не влюбиться в эту девушку в красном, видя ее каждый день такой, какой мы ее сегодня видели! Чертовски хорошенькая! Только не по его рылу она... Он должен это понимать и не ревновать так эгоистически... Люби, но не мешай и другим, тем более, что знаешь, что она не про тебя писана... Этаким ведь старый болван!

— Помнишь, как он вскипел, когда Кузьма за чаем упомянул ее имя? — хихикнул граф. — Я думал, что он всех нас побьет тогда... Так горячо не заступаются за честное имя женщины, к которой равнодушны...

— Заступаются, брат... Но дело не в этом... Важно вот что... Если он нами так командовал сегодня, то что выделяет он с маленькими людьми, с теми, которые находятся в его распоряжении! Небось, ключникам, экономам, охотникам и прочим малым лира сего и подступиться к ней не дает! Любовь и ревность делают человека несправедливым, бессердечным, человеконенавистником... Держу пари, что он заел уж из-за этой Оленьки не одного служащего под его начальством. Умно поэтому сделаешь, если будешь давать поменьше веры его жалобам на служащих и докладам о необходимости изгнания того или другого. Вообще на время ограничь его власть... Любовь пройдет — ну, тогда нечего будет бояться. Он добрый и честный малый...

— А как тебе нравится ее папенька? — засмеялся граф,

— Сумасшедший... Ему нужно в сумасшедшем доме сидеть, а не лесами заведовать... Вообще не солжешь, если на воротах своей усадьбы повесишь вывеску: «Сумасшедший дом»... У тебя здесь настоящий Бедлам! Лесничий этот, Сычиха, Франц, помешанный на картах, влюбленный старик, экзальтированная девушка, спившийся граф... чего лучше?

— А ведь этот лесничий жалованье получает! Как же он служит, если он сумасшедший?

— Очевидно, Урбенин держит его только из-за дочери... Урбенин говорит, что на Николая Ефимыча находит почти каждое лето... Но это едва ли... Не каждое лето, а постоянно болен этот лесничий... К счастью, твой Петр Егорыч редко лжет и выдает себя, если соврет что-нибудь...

— В прошлом году Урбенин уведомлял меня, что старый лесничий Ахметьев едет в монахи на Афон, и рекомендовал мне «опытного, честного и заслуженного» Скворцова... Я, конечно, дал согласие, как и всегда его даю. Письма ведь не лица: не выдают себя, если лгут.

Карета въехала во двор и остановилась у подъезда. Мы вышли из нее. Дождь уже прошел. Громовая туча, сверкая молниями и издавая сердитый ропот, спешила на северо-восток, всё более и более открывая голубое, звездное небо. Казалось, тяжело вооруженная сила, произведя опустошения и взявши страшную дань, стремилась к новым победам... Отставшие тучки гнались за ней и спешили, словно боялись не догнать... Природа получала обратно свой мир...

И этот мир чудился в тихом ароматном воздухе, полном неги и

соловьиных мелодий, в молчании спящего сада, в ласкающем свете поднимающейся луны... Озеро проснулось после дневного сна и легким ворчаньем давало знать о себе человеческому слуху...

В такое время хорошо кататься по полю в покойной коляске или работать на озере веслами... Но мы пошли в дом... Там нас ожидала иного рода «поэзия».

Самоубийцей называется тот, кто, под влиянием психической боли или угнетаемой невыносимым страданием, пускает себе пулю в лоб; для тех же, кто дает волю своим жалким, опошляющим душу страстям в святые дни весны и молодости, нет названия на человеческом языке. За пулей следует могильный покой, за погубленной молодостью следуют годы скорби и мучительных воспоминаний. Кто профанировал свою весну, тот понимает теперешнее состояние моей души. Я еще не стар, не сед, но я уже не живу. Психиатры рассказывают, что один солдат, раненный при Ватерлоо, сошел с ума и впоследствии уверял всех и сам в то верил, что он убит при Ватерлоо, а что то, что теперь считают за него, есть только его тень, отражение прошлого. Нечто похожее на эту полусмерть переживаю теперь и я...

— Я очень рад, что ты ничего не ел у лесничего и не испортил себе аппетита, — сказал мне граф, когда мы входили в дом. — Мы отлично поужинаем... по-старому... Подавать! — приказал он Илье, стаскивавшему с него сюртук и надевавшему халат.

Мы отправились в столовую. Тут, на сервированном столе, уже «кипела жизнь». Бутылки всех цветов и всевозможного роста стояли рядами, как на полках в театральных буфетах, и, отражая в себе ламповый свет, ждали нашего внимания. Соленая, маринованная и всякая другая закуска стояла на другом столе с графином водки и английской горькой. Около же винных бутылок стояли два блюда: одно с поросенком, другое с холодной осетриной...

— Ну-с... — начал граф, наливая три рюмки и пожимаясь, как от холода. — Будем здоровы! Бери свою рюмку, Каэтан Казимирович!

Я выпил, поляк же отрицательно покачал головой. Он придвинул к себе осетрину, понюхал ее и начал есть.

Прошу извинения у читателя. Сейчас мне придется описывать совсем не «романтическое».

— Ну-с... они выпили по другой, — сказал граф, наливая вторые рюмки. — Дерзай, Лекок!

Я взял свою рюмку, поглядел на нее и поставил...

— Чёрт возьми, давно уже я не пил, — сказал я. — Не вспомнить ли



старину? — И, не долго думая, я налил пять рюмок и одну за другой опрокинул себе в рот. Иначе я не умел пить. Маленькие школьники учатся у больших курить папиросы: граф, глядя на меня, налил себе пять рюмок и, согнувшись дугой, сморщившись и качая головой, выпил их. Мои пять рюмок показались ему ухарством, но я пил вовсе не для того, чтобы прихвастнуть талантом пить... Мне хотелось опьянения, хорошего, сильного опьянения, какого я давно уже не испытывал, живя у себя в деревеньке. Выпивши, я сел за стол и принялся за поросенка...

Опьянение не заставило долго ждать себя. Скоро я почувствовал легкое головокружение. В груди заиграл приятный холодок — начало счастливого, экспансивного состояния. Мне вдруг, без особенно заметного перехода, стало ужасно весело. Чувство пустоты, скуки уступило свое место ощущению полного веселья, радости. Я начал улыбаться. Захотелось мне вдруг болтовни, смеха, людей. Жуя поросенка, я стал чувствовать полноту жизни, чуть ли не самое довольство жизнью, чуть ли не счастье.

— Отчего же вы ничего не выпьете? — обратился я к поляку.

— Он ничего не пьет, — сказал граф. — Ты не принуждай его.

— Но все-таки хоть что-нибудь да пьете же!

Поляк положил себе в рот большой кусок осетрины и отрицательно покачал головой. Молчание его меня подзадорило.

— Послушайте, Каэтан... как вас по батюшке... отчего вы всё молчите? — спросил я его. — Я не имел еще удовольствия слышать вашего голоса.

Две брови его, похожие на летящую ласточку, поднялись, и он поглядел на меня.

— А вам желательно, чтоб я говорил? — спросил он с сильным польским акцентом.

— Весьма желательно.

— А на что вам?

— Помилуйте! На пароходах за обедом чужие и незнакомые люди поднимают между собой разговор, а мы с вами знакомы уже несколько часов, рассматриваем друг друга и не проговорили между собой еще ни одного слова! На что это похоже?

Поляк молчал.

— Отчего же вы молчите? — спросил я, обождав немного. — Ответьте что-нибудь!

— Я не желаю отвечать вам. В вашем голосе я слышу смех, а я не люблю насмешек.

— Он нисколько не смеется! — встревожился граф. — Откуда это ты

взял, Каэтан? Он дружески...

— Со мной графы и князья не говорили таким тоном! — сказал Каэтан, хмурясь. — Я не люблю такого тона.

— Стало быть, не удостоите беседой? — продолжал я приставать, выпивая еще рюмку и смеясь.

— Знаешь, зачем собственно я приехал сюда? — перебил граф, желая переменить разговор. — Я тебе не говорил еще об этом? Прихожу я в Петербурге к одному знакомому доктору, у которого я лечусь постоянно, и жалуюсь на свою болезнь Он выслушал, выстукал, ощупал, знаешь ли, всего и говорит: «Вы не трус?» Я хоть не трус, но, знаешь, побледнел: «Не трус», — говорю.

— Короче, брат... Надоело.

— Предсказал скорую смерть, если я не оставлю Петербурга и не уеду! У меня вся печень испорчена от долгого питья... Я и решил ехать сюда. Да и глупо там сидеть... Здесь именье такое роскошное, богатое... Климат один чего стоит!.. Делом, по крайней мере, можно заняться! Труд самое лучшее, самое радикальное лекарство. Не правда ли, Каэтан? Займусь хозяйством и брошу пить... Доктор не велел мне ни одной рюмки... ни одной!

— Ну, и не пей.

— Я и не пью... Сегодня в последний раз, ради свидания с тобой (граф потянулся ко мне и чмокнул меня в щеку)... с моим милым, хорошим другом, завтра же — ни капли! Бахус прощается сегодня со мной навеки... На прощанье, Сережа, коньячку... выпьем?

Мы выпили коньяку.

— Вылечусь, Сережа-голубчик, и займусь хозяйством... Рациональным хозяйством! Урбенин — добрый, милый... понимает всё, но разве он хозяин? Он рутинер! Надо журналы выписывать, читать, следить за всем, участвовать на сельскохозяйственных выставках, а он необразован для этого! В Оленьку... неужели он влюблен? Ха-ха! Я сам займусь, а его помощником своим сделаю... В выборах буду участвовать, общество веселить... а? Ведь и тут можно счастливо прожить! Ты как думаешь? Ну, вот ты уж и смеешься! Уж и смеешься! Право, с тобой нельзя ни о чем говорить!

Мне было весело, смешно. Смешил меня граф, смешили свечи, бутылки, лепные зайцы и утки, украшавшие стены столовой... Не смешила меня одна только трезвая физиономия Каэтана Казимировича. Присутствие этого человека раздражало меня.

— Нельзя ли этого шляхтича к чёрту? — шепнул я графу.

— Что ты! Ради бога... — залепетал граф, хватая меня за обе руки, словно я собирался колотить его поляка. — Пусть себе сидит!

— Но я не могу его видеть! Послушайте! — обратился я к Пшехоцкому. — Вы отказались со мной говорить, но, простите меня, я не потерял еще надежды покороче познакомиться с вашей разговорной способностью...

— Оставь! — дернул меня граф за рукав. — Умоляю!

— Я буду приставать к вам до тех пор, пока вы не станете отвечать мне, — продолжал я. — Что вы хмуритесь? Нешто и теперь слышите в моем голосе смех?

— Если б я выпил столько, сколько вы, то я стал бы с вами разговаривать, а то мы с вами не пара... — проворчал поляк.

— Мы с вами не пара, что и требовалось доказать... Я хотел сказать именно то же самое... Гусь свинье не товарищ, пьяный трезвому не родня... Пьяный мешает трезвому, трезвый пьяному. В соседней гостиной есть отличные мягкие диваны! На них хорошо полежать после осетринки с хреном. Туда не слышен мой голос. Не желаете ли вы туда отправиться?

Граф всплеснул руками и, мигая глазами, заходил по столовой.

Он трус и боится «крупных» разговоров... Меня же, когда я бывал пьян, тешили недоразумения и неудовольствия...

— Я не понимаю! Я не по-нимаю! — простонал граф, не зная, что сказать и что предпринять...

Он знал, что меня трудно было остановить.

— Я с вами еще мало знаком, — продолжал я, — может быть, вы прекраснейший человек, а потому мне и не хотелось бы с вами спозаранку ссориться... Я не ссорюсь с вами... Я приглашаю вас только понять, что трезвым не место среди пьяных... Присутствие трезвого действует раздражающе на пьяный организм!.. Поймите вы это!

— Говорите, что вам угодно! — вздохнул Пшехоцкий. — Меня ничем не проймете, молодой человек...

— Будто бы ничем? А если я назову вас упрямой свиньей, вы тоже не обидитесь?

Поляк покраснел — и только. Граф, бледный, подошел ко мне, сделал умоляющее лицо и развел руками.

— Ну, прошу тебя! Умерь свой язык!

Я вошел уже в свою пьяную роль и хотел продолжать, но на счастье графа и поляка послышались шаги и в столовую вошел Урбенин.

— Приятного аппетита! — начал он. — Я пришел узнать, ваше сиятельство, не будет ли каких приказаний?

— Приказаний пока нет, а просьба есть... — отвечал граф. — Очень рад, что вы пришли, Петр Егорыч... Садитесь с нами ужинать и давайте толковать о хозяйстве...

Урбенин сел. Граф выпил коньяку и начал излагать ему план своих будущих действий в области рационального хозяйства. Говорил он долго, утомительно, то и дело повторяясь и меняя тему. Урбенин слушал его, как серьезные люди слушают болтовню детей и женщин, лениво и внимательно... Он ел ершовую уху и печально глядел в свою тарелку.

— Я привез с собой прекрасные чертежи! — сказал, между прочим, граф. — Замечательные чертежи! Хотите, я вам покажу?

Карнеев вскочил и побежал к себе в кабинет за чертежами. Урбенин, пользуясь его отсутствием, быстро налил себе пол чайного стакана водки, выпил и не закусил.

— Противная эта водка! — сказал он, глядя с ненавистью на графин.

— Отчего вы при графе не пьете, Петр Егорыч? — спросил я его. — Неужто вы боитесь?

— Лучше, Сергей Петрович, лицемерить и пить тайком, чем пить при графе. Вы знаете, у графа странный характер... Украдь я у него заведомо двадцать тысяч, он ничего, по своей беспечности, не скажет, а забудь я дать ему отчет в потраченном гривеннике или выпей при нем водки, он начнет плакаться, что у него разбойник-управляющий. Вы его хорошо знаете.

Урбенин налил себе еще полстакана и выпил.

— Вы, кажется, прежде не пили, Петр Егорыч, — сказал я.

— Да, а теперь пью... Ужасно пью! — шепнул он. — Ужасно, день и ночь, не давая себе ни минуты отдыха! И граф никогда не пил в такой мере, в какой я теперь пью... Ужасно тяжело, Сергей Петрович! Одному только богу ведомо, как тяжело у меня на сердце! Уж именно, что с горя пью... Я вас всегда любил и уважал, Сергей Петрович, и откровенно вам скажу... повеситься рад бы!

— Отчего же это?

— Глупость моя... Не одни только дети бывают глупы... Бывают дураки и в пятьдесят лет. Причин не спрашивайте.

Вошел граф и прекратил его излияния.

— Отличнейший ликер! — сказал он, ставя на стол вместо «замечательных» чертежей, пузатую бутылку с сургучной печатью бенедиктинцев. — Проездом через Москву у Депре взял. Не желаешь ли, Сережа?

— Ты ведь, кажется, за чертежами ходил! — сказал я.

— Я? За какими чертежами? Ах, да! Но, брат, сам чёрт ничего не

разберет в моих чемоданах... Рылся-рылся и бросил... Ликер очень мил. Не хочешь ли?

Урбенин посидел еще немного, простился и вышел. По уходе его мы принялись за красное. Это вино окончательно меня разобрало. Получилось опьянение, какого я именно и хотел, когда ехал к графу. Я стал чрезмерно бодр душою, подвижен, необычайно весел. Мне захотелось подвига неестественного, смешного, пускающего пыль в глаза... В эти минуты, мне казалось, я мог бы переплыть всё озеро, открыть самое запутанное дело, победить любую женщину... Мир с его жизнями приводил меня в восторг, я любил его, но в то же время хотелось придирааться, жечь ядовитыми остротами, издеваться... Смешного чернобрового поляка и графа нужно было осмеять, заездить едкой остротой, обратить в порошок.

— Что же вы молчите? — начал я. — Говорите, я слушаю вас! Ха-ха! Я ужасно люблю, когда люди с серьезными, солидными физиономиями говорят детскую чушь!.. Это такая насмешка, такая насмешка над человеческими мозгами!.. Лица не соответствуют мозгам! Чтобы не лгать, надо иметь идиотскую физиономию, а у вас лица греческих мудрецов!

Я не кончил... Язык у меня запутался от мысли, что я говорю с людьми ничтожными, не стоящими и полуслова! Мне нужна была зала, полная людей, блестящих женщин, тысячи огней... Я поднялся, взял свой стакан и пошел ходить по комнатам. Когда мы кутим, мы не стесняем себя пространством, не ограничиваемся одной только столовой, а берем весь дом и часто даже всю усадьбу...

В «мозаиковой» гостиной я выбрал себе турецкую софу, лег на нее и отдал себя во власть фантазий и воздушных замков. Мечты пьяные, но одна другой грандиознее и безграничнее, охватили мой молодой мозг... Получился новый мир, полный одуряющей прелести и не поддающихся описанию красот.

Недоставало только, чтоб я заговорил рифмами и стал видеть галлюцинации.

Граф подошел ко мне и сел на край софы... Ему хотелось что-то сказать мне. Это желание сообщить мне что-то особенное я начал читать в его глазах уже вскоре после вышеописанных пяти рюмок. Я знал, о чем он хотел говорить...

— Как я много выпил сегодня! — сказал он мне. — Это для меня вреднее всякого яда... Но сегодня в последний раз... Честное слово, в последний раз... У меня есть воля...

— Ладно, ладно...

— В последний... Сережа, друг, в последний раз не послать ли в город

телеграмму?

— Пожалуй, пошли...

— Кутнем уж в последний раз как следует... Ну, встань же, напиши...

— Сам граф не умеет писать телеграмм. У него выходят слишком длинные и неполны. Я поднялся и написал:

«С... Ресторан „Лондон». Содержателю хора Карпову. Оставить всё и ехать немедленно с двухчасовым поездом. Граф».

— Теперь без четверти одиннадцать, — сказал граф. Человек будет скакать до станции три четверти часа, максимум час... Телеграмму получит Карпов в первом часу... На поезд, стало быть, успеет... Если на этот не успеет, то придет с товарным... Да?

Телеграмма была послана с одноглазым Кузьмой... Илье было приказано, чтобы через час были посланы экипажи на станцию... Я, чтоб убить чем-нибудь время, начал медленно зажигать лампы и свечи во всех комнатах, затем отпер рояль и попробовал клавиши...

Затем, помню, я лежал на той же софе, ни о чем не думал и молча отстранял рукой пристававшего с разговорами графа... Был я в каком-то забытии, полудремоте, чувствуя только яркий свет ламп и веселое, спокойное настроение... Образ девушки в красном, склонившей головку на плечо, с глазами, полными ужаса перед эффектной смертью, постоял передо мной и тихо погрозил мне маленьким пальцем... Образ другой девушки, в черном платье и с бледным, гордым лицом, прошел мимо и поглядел на меня не то с мольбой, не то с укоризной.

Далее я слышал шум, смех, беготню... Черные, глубокие глаза заслонили мне свет. Я видел их блеск, их смех... На сочных губах играла радостная улыбка... То улыбалась моя цыганка Тина...

— Это ты? — спросил ее голос. — Ты спишь? Вставай, милый... Я давно уже тебя не видела...

Я молча пожал ей руку и привлек ее к себе...

— Пойдем же туда... Все наши приехали...

— Останься... Мне тут хорошо, Тина...

— Но... здесь много света... Ты сумасшедший... Могут войти...

— Кто войдет, тому я сверну шею... Мне хорошо, Тина... Два года уже прошло, как я тебя не видел...

В зале заиграли на рояле.

Ах, Москва, Москва,

Москва... белокаменная...

— заорало несколько голосов...

— Видишь, они все поют там... Никто не войдет...

— Да, да...

Свидание с Тиной вывело меня из забытья... Через десять минут она ввела меня в залу, где полукругом стоял хор... Граф сидел верхом на стуле и отбивал руками такт... Пешехоцкий стоял позади его стула и удивленными глазами глядел на певчих птиц... Я вырвал из рук Карпова его балалайку, махнул рукой и затянул...

Вниз по ма-а-атушке... па-а-а Во-о-о...

Па-а В-о-о-о-лге...

— подхватил хор...

Ай, жги, говори... говори...

Я махнул рукой, и мгновенно, с быстротой молнии наступил новый переход...

Ночи безумные, ночи веселые...

Ничто так раздражающе и щекочуще не действует на мои нервы, как подобные резкие переходы. Я задрожал от восторга и, охватив Тину одной рукой, а другой махая в воздухе балалайкой, допел до конца «Ночи безумные»... Балалайка с треском ударилась о пол и разлетелась на мелкие щепки...

— Вина!

Далее мои воспоминания приближаются к хаосу... Всё перемешалось, спуталось, всё мутно, неясно... Помню я серое небо раннего утра... Мы едем на лодках... Озеро слегка волнуется и словно ворчит, глядя на наши дебоширства... Я стою посередине лодки и качаюсь... Тина уверяет меня, что я могу упасть в воду, и просит сесть... Я же громко изъявляю сожаление, что на озере нет таких высоких волн, как Каменная Могила, и пугаю своим криком мартынов, мелькающих белыми пятнами на синей поверхности озера. Далее следует длинный жаркий день с его нескончаемыми завтраками, десятилетними наливками, пуншами, дебошем... Из этого дня я помню только несколько моментов... Я помню себя качающимся с Тиной в саду на качелях. Я стою на одном конце доски, она на другом. Я работаю всем своим туловищем с ожесточением, насколько хватает у меня сил, и сам не знаю, что именно мне нужно: чтобы Тина сорвалась с качелей и убилась или же чтоб она взлетела под самые облака? Тина стоит бледная как смерть, но, гордая и самолюбивая, она стиснула зубы, чтобы ни одним звуком не выдать своего страха. Мы взлетаем всё выше и выше и... не помню, чем кончилось. Далее следует прогулка с Тиной в далекую аллею с зеленым сводом, скрывающим от солнца. Поэтический полумрак, черные косы, сочные губы, шёпот... Затем рядом со мной идет маленькое контральто, блондинка с острым носиком,

детскими глазками и очень тонкой талией. Я гуляю с ней до тех пор, пока Тина, проследив нас, не делает мне сцены... Цыганка бледна, взбешена... Она называет меня «проклятым» и, обиженная, собирается уехать в город. Граф, бледный, с дрожащими руками, бежит около нас и, по обыкновению, не находит слов, чтоб уговорить Тину остаться... Та в конце концов дает мне пощечину... Странно: я прихожу в бешенство от малейшего, едва оскорбительного слова, сказанного мужчиной, и совершенно индифферентен к пощечинам, которые дают мне женщины... Опять длинное «после обеда», опять змея на лестнице, опять спящий Франц с мухами около рта, опять калитка... Девушка в красном стоит на Каменной Могиле, но, завидев нас, исчезает, как ящерица.

К вечеру мы опять друзья с Тиной. За вечером следует та же буйная ночь, с музыкой, залихватским пением, с щекочущими нервы переходами... и ни одной минуты сна!

— Это самоистребление! — шепнул мне Урбенин, зашедший на минутку послушать наше пение...

Он, конечно, прав. Далее, помню, я и граф стоны в саду друг против друга и спорим. Около нас прохаживается чернобровый Каэтан, всё время не принимавший никакого участия в нашем веселье, но, тем не менее, не спавший и ходивший всё время за нами, как тень... Небо уже бело, и на верхушке самого высокого дерева уже начинают золотиться лучи восходящего солнца. Кругом возня воробьев, пенье скворцов, шелест, хлопанье отяжелевших за ночь крыльев... Слышно мычанье стада и крики пастухов. Около нас столик с мраморной доской. На столике свеча Шандора с бледным огнем. Окурки, бумажки от конфет, разбитые рюмки, апельсиновые корки...

— Ты должен это взять! — говорю я, подавая графу пачку кредитных билетов. — Я заставляю тебя взять!

— Ведь я же их приглашал, а не ты! — убеждает граф, стараясь уловить мою пуговицу. — Я здесь хозяин... я угощал тебя, — с какой же стати тебе платить? Пойми, что ты даже оскорбляешь меня этим!

— Я тоже нанимал их, потому плачу половину. Не берешь? Не понимаю этого одолжения! Неужели ты думаешь, что если ты богат, как дьявол, то имеешь право делать мне такие одолжения? Чёрт возьми, я нанимал Карпова, я ему и заплачу! Не нужно твоей половины! Я писал телеграмму!

— В ресторане, Сережа, ты можешь платить, сколько тебе угодно, в моем же доме не ресторан... И потом я решительно не понимаю, из-за чего ты хлопочешь, не понимаю твоей прыти. У тебя мало денег, у меня же



добра этого куры не клюют... Сама справедливость на моей стороне!

— Так ты не возьмешь? Нет? Не нужно...

Я подношу к бледному огню Шандора кредитные бумажки, зажигаю их и бросаю на землю. Из груди Каэтана вдруг вырывается стон. Он делает большие глаза, бледнеет и падает своим тяжелым телом на землю, стараясь затушить ладонями огонь на деньгах... Это ему удастся.

— Я не понимаю! — говорит он, кладя в карман обожженные кредитки. — Жечь деньги?! Слово это прошлогоднее слово или любовные письма... Лучше я бедному отдам кому-нибудь, чем отдавать их огню.

Я иду в дом... Там во всех комнатах, на диванах и коврах, спят вразвалку изнеможенные, заезженные певцы... Моя Тина спит на софе в «мозаиковой гостиной»...

Она раскинулась и тяжело дышит... Зубы ее стиснуты, лицо бледно... Вероятно, ей снятся качели... По всем комнатам ходит Сычиха и злобно поглядывает своими острыми глазками на людей, так внезапно нарушивших мертвую тишину забытой усадьбы... Она не даром ходит и утруждает свои старые кости...

Вот всё то, что осталось в моей памяти после двух диких ночей, остальное же не удержалось в пьяных мозгах или же неудобно для описания... Но довольно и этого!..

Никогда в другое время Зорька не несла меня с таким усердием, как в утро после сожжения кредиток... Ей тоже хотелось домой... Озеро тихо катило свои пенящиеся волны и, отражая в себе поднимающееся солнце, готовилось к дневному сну... Леса и прибрежные ивы стояли недвижимо, словно на утренней молитве... Трудно описать тогдашнее состояние моей души... Много не распространяясь, скажу только, что я несказанно обрадовался и в то же время чуть не сгорел со стыда, когда при повороте от графской усадьбы увидел на берегу старое, изможденное честным трудом и болезнями, святое лицо старика Михея... Михей своею наружностью напоминает библейских рыболовов... Он сед, как лунь, борода и созерцательно глядит на небо... Когда он стоит неподвижно на берегу и следит взором за бегущими облаками, то можно подумать, что он видит в небе ангелов... Я люблю такие лица...

Увидев его, я осадил свою Зорьку и подал ему руку, как бы желая очиститься прикосновением к его честной мозолистой руке... Он поднял на меня свои маленькие прозорливые глаза и усмехнулся.

— Здравствуй, хороший барин! — сказал он, неумело подавая мне руку. — Что опять заскакал? Аль тот лодырь приехал?

— Приехал.

— То-то... по лику вижу... А я стою вот тут и гляжу... Мир и есть мир. Суета сует... Взглянь-ка! Немцу помирать надо, а он о суете заботится... Видишь?

Старик указал палкой на графскую купальню. От купальни быстро плыла лодка. В ней сидел человек в жокейском картузике и синей куртке. То был садовник Франц.

— Каждое утро на остров деньги возит и прячет... Нет у глупого понятия в голове, что для него что песок, что деньги — одна цена... Умрет — не возьмет с собой. Дай, барин, сигарку!

Я подал ему портсигар. Он взял три папироски и сунул их за пазуху.

— Это я племяннику... Пущай покурит.

Нетерпеливая Зорька задвигалась и полетела. Я поклонился старику, благодарный, что он дал моим глазам отдохнуть на его лице. Он долго глядел мне вслед.

Дома встретил меня Поликарп... Презрительным, сокрушающим взглядом он измерил мое барское тело, словно желая узнать, купался ли я на этот раз во всем костюме или нет?

— Поздравляем! — проворчал он. — Получил удовольствие!

— Молчи, дурак! — сказал я.

Меня злила его глупая физиономия. Быстро раздевшись, я укрывлся одеялом и закрыл глаза.

Голова закружилась, и мир окутался туманом. В тумане промелькнули знакомые образы... Граф, змея, Франц, собаки огненного цвета, девушка в красном, сумасшедший Николай Ефимыч.

— Муж убил свою жену! Ах, как вы глупы!

Девушка в красном погрозила мне пальцем, Тина заслонила мне свет своими черными глазами и... я уснул...

— Как сладко и безмятежно он спит! Глядя на это бледное, утомленное лицо, на эту невинно-детскую улыбку и прислушиваясь к этому ровному дыханию, можно подумать, что здесь на кровати лежит не судебный следователь, а сама спокойная совесть! Можно подумать, что граф Карнеев еще не приехал, что не было ни пьянства, ни цыганок, ни скандалов на озере... Вставайте, ехиднейший человек! Вы не стоите, чтобы пользоваться таким благом, как покойный сон! Поднимайтесь!

Я открыл глаза и сладко потянулся... От окна до моей кровати шел широкий солнечный луч, в котором, гоняясь одна за другой и волнуясь, летали белые пылинки, отчего и сам луч казался подернутым матовой белизной... Луч то исчезал с моих глаз, то опять появлялся, смотря по тому,

входил ли в область луча или выходил из нее шагавший по моей спальне наш милейший уездный врач Павел Иванович Вознесенский. В длинном расстегнутом сюртуке, болтающемся на нем, как на вешалке, заложив руки в карманы своих необыкновенно длинных брюк, доктор ходил из угла в угол, от стула к стулу, от портрета к портрету и щурил свои близорукие глаза на всё, что только попадалось на пути его взгляду. Покорный своей привычке совать свой нос и запускать «глазенапа» всюду, где только возможно, — он, то нагибаясь, то сильно вытягиваясь, заглядывал в рукомойник, в складки опущенной сторы, в дверные щели, в лампу... словно искал чего-то или желал удостовериться, всё ли цело... Вглядываясь пристально сквозь очки в какую-нибудь щель или пятно на обоях, он хмурился, принимал озабоченное выражение, нюхал своим длинным носом, старательно скоблил ногтем... Всё это проделывал он машинально, бессознательно и по привычке, но, тем не менее, быстро перебегая глазами с одного предмета на другой, он имел вид знатока, производящего экспертизу.

— Поднимайтесь, вам говорят! — будил он меня своим певучим тенором, заглядывая в мыльницу и снимая с мыла ногтем волосок.

— А... а... а... здравствуйте, господин щур! — зевнул я, увидев его, нагнувшегося над рукомойником. — Сколько зим, сколько лет!

Весь уезд дразнит доктора «щуром» за его вечно прищуренные глаза; дразнил и я. Увидев, что я проснулся, Вознесенский подошел ко мне, сел на край кровати и тотчас же потянул к своим прищуренным глазам коробку со спичками...

— Так спят одни только лентяи да люди со спокойною совестью, — сказал он, — а так как вы ни то, ни другое, то вам подобало бы, друже, вставать немножко пораньше...

— А который теперь час?

— Одиннадцатый на исходе.

— Чёрт вас возьми, щуренька! Никто не просил вас будить меня так рано! Вы знаете, я уснул сегодня только в шестом часу, и если бы не вы, то проспал бы до вечера.

— Так! — услышал я из соседней комнаты бас Поли-карпа. — Мало он еще спал! Вторые сутки спит, и всё ему мало! Да вы знаете, какой сегодня день? — спросил Поликарп, входя в спальную и глядя на меня так, как умные глядят на дураков.

— Среда, — сказал я.

— Как же, беспрерывно. Нарочно для вас так и сделали, чтобы в неделе две среды было...

— Сегодня четверг! — сказал доктор. — Так это, голубчик, вы изволили всю среду проспять? Мило! очень мило! Сколько же это вы выпили, позвольте вас спросить?

— Я двое суток не спал, а выпил... не помню, сколько я выпил.

Уславши Поликарпа, я начал одеваться и описывать доктору пережитые мною так недавно «ночи безумные, речи бессвязные», которые так хороши и чувствительны в романсах и так безобразны на деле. В своих описаниях я старался не выходить из пределов «легкого жанра», держаться фактов и не вдаваться в мораль, хотя всё это и противно натуре человека, питающего страсть к итогам и выводам... Я говорил и делал вид, что говорю о пустяках, нимало меня не тревожащих. Щадя целомудрие Павла Ивановича и зная его отвращение к графу, я многое скрыл, многого коснулся только слегка, но, тем не менее, несмотря даже на игривость моего тона, на карикатурный пошиб моей речи, доктор во всё время моего рассказа глядел мне в лицо серьезно, то и дело покачивая головой и нетерпеливо подергивая течами. Он ни разу не улыбнулся... Очевидно, мой «легкий жанр» произвел на него далеко не легкое впечатление.

— Что же вы не смеетесь, щуренька? — спросил я, покончив со своими описаниями...

— Если бы всё это не вы мне рассказывали и если бы не один случай, то я не поверил бы всему этому. Уж больно безобразно, друже!

— О каком случае вы говорите?

— Вчера под вечер был у меня мужик, которого вы так неделикатно попотчевали веслом... Иван Осипов...

— Иван Осипов... — пожал я плечами. — Первый раз слышу!

— Высокий такой, рыжий... с веснушками на лице... Припомните-ка! Вы ударили его веслом по голове.

— Ничего не понимаю! Никакого Осипова не знаю, веслом никого не потчевал... Всё это вам снилось, дядя!

— Дай бог, чтобы снилось... Он явился ко мне с отношением от карнеевского волостного правления и попросил медицинского свидетельства... В отношении написано, да и сам он не врет, что рана нанесена ему вами... И теперь не помните? Рана ушибленная, повыше лба, на границе с волосистой частью... До кости хватили, батенька!

— Не помню! — прошептал я. — Кто он? Чем занимается?

— Обыкновенный карнеевский мужик, у вас же там на озере был гребцом, когда вы кутили...

— Гм... может быть! Не помню... Вероятно, был пьян и как-нибудь нечаянно...

— Нет-с, не нечаянно... Он говорит, что вы рассердились на него за что-то, долго бранились и потом, рассвирепев, подскочили к нему и при свидетелях хватили... Мало того, вы крикнули: «Я убью тебя, шельму этакую!..»

Я покраснел и прошелся из угла в угол.

— Хоть убей, не помню! — проговорил я, изо всех сил напрягая память. — Не помню! Вы говорите «рассвирепев»... В пьяном виде я бываю непростительно мерзок!

— Чего же лучше!

— Мужик, очевидно, хочет затеять скандал, но не это важно... Важен сам факт, побои... Неужели я способен драться? И за что я ударил бедного мужика?

— Да-с... Свидетельства, конечно, я не мог ему не дать, но не преминул посоветовать ему обратиться к вам... Вы сойдитесь с ним как-нибудь... Побои легкие, но, рассуждая неофициально, рана головы, проникающая до черепа, штука серьезная... Нередки случаи, когда, по-видимому, самая пустая рана головы, отнесенная к легким побоям, оканчивалась омертвлением костей черепа и, стало быть, путешествием ad patres<sup>[3]</sup>.

И «щур», увлекшись, поднялся, зашагал около стен и, размахивая руками, начал выкладывать передо мною свои познания по хирургической патологии... Омертвление костей черепа, воспаление мозга, смерть и другие ужасы так и сыпались из его рта с бесконечными объяснениями макроскопических и микроскопических процессов, сопровождающих эту туманную и неинтересную для меня *terram incognitam*<sup>[4]</sup>.

— Будет вам, барабошка! — остановил я его медицинскую болтовню. — Неужели вы не знаете, как всё это скучно?

— Это ничего, что скучно... Вы слушайте и казнитесь... Авось в другой раз будете поосторожней и не станете делать ненужных глупостей... Из-за этого паршивца Осипова, если вы с ним не сойдетесь, вы можете место потерять! Жрецу Фемиды судиться за побои... ведь это скандал!

Павел Иванович — единственный человек, сентенции которого я выслушиваю с легкой душою, не морщась, которому дозволяется вопросительно заглядывать в мои глаза и запускать исследующую руку в дебри моей души... Мы с ним приятели в самом лучшем смысле этого слова и уважаем друг друга, хотя у нас с ним и существуют счеты неприятного, щекотливого свойства... Между мною и им, как черная кошка, прошла женщина. Этот вечный *casus belli*<sup>[5]</sup> породил между нами

счета, но не поссорил нас, и мы продолжаем быть в мире. «Щур» — очень хороший малый... Я люблю его простое, далеко не пластическое лицо с большим носом, прищуренными глазами и жидкой рыжей бородкой. Я люблю его высокую, тонкую, узкоплечую фигуру, на которой сюртуки ж пальто болтаются, как на вешалке.

Его уродливо сшитые брюки собираются безобразными складками у колен и безбожно топчутся сапогами; его белый галстук вечно сидит не на месте... Но вы не подумайте, что он неряха... Взглянувши раз на его доброе, сосредоточенное лицо, вы поймете, что ему некогда хлопотать о своей наружности, да и не умеет он... Он молод, честен, не суетен, любит свою медицину, вечно в разъездах, — этого достаточно, чтобы объяснить в его пользу все промахи его незатейливого туалета. Он, как артист, не знает цены деньгам и невозмутимо жертвует своим комфортом и благами жизни кое-каким своим страстишкам, и оттого-то он дает впечатление человека неимущего, еле сводящего концы с концами... Он не курит, не пьет, не платит женщинам, но, тем не менее, две тысячи, которые вырабатывает он службой и практикой, уходят от него так же быстро, как уходят у меня мои деньги, когда я переживаю период кутежа. Две страсти обирают его: страсть давать займы и страсть выписывать по газетным объявлениям... Займы дает он всякому просящему, не говоря ни слова и не заикаясь об обратной получке... Никаким гвоздем не выковыришь из него бесшабашной веры в людскую добросовестность, и эта вера еще рельефнее сказывается в его постоянных выписываниях вещей, воспеваемых в газетных объявлениях... Он выписывает всё, нужное и ненужное. Выписывает книги, зрительные трубки, юмористические журналы, столовые приборы, «состоящие из 100 вещей», хронометры... И немудрено, если больные, приходящие к Павлу Ивановичу, принимают его комнату за арсенал или музей... Его надували и надувают, но вера по-прежнему сильна и бесшабашна... Малый он славный, и мы еще не раз встретимся с ним на страницах этого романа...

— Как, однако, я у вас засиделся, — спохватился он, взглянув на свои дешевые, с одной крышкой, часы, выписанные им из Москвы «с ручательством на 5 лет», но, тем не менее, два раза уже бывшие в починке. — Мне пора, друже! Прощайте и смотрите вы мне! Эти графские кутежи добром не кончатся! Не говорю уж о вашем здоровье... Ах, да! Будете завтра в Теневе?

— А что там завтра?

— Престольный праздник! Все там будут, и вы приезжайте! Обязательно приезжайте! Я дал слово, что вы непременно приедете. Не

сделайте же меня лгуном...

Кому дал он слово — не нужно было спрашивать. Мы понимали друг друга. Простившись со мной, доктор надел свое поношенное пальто и уехал...

Я остался один... Чтобы заглушить неприятные мысли, начинавшие копошиться в моей голове, я подошел к своему письменному столу и, стараясь не думать, не отдавать себе отчета, занялся полученными бумагами... Конверт, первый попавшийся мне на глаза, содержал в себе следующее письмо:

«Душечка мой Сережа! Извени, что я тебя беспокою, но я так удивлена, что не знаю, к кому и обратиться... Это ни на что не похоже. Конечно, теперь не варотиш, и мне не жалко, но посуди сам, что если ворам делать поблашку, то порядочной женщине нигде нельзя быть покойной. После того, как ты уехал, я проснулась на дивани и не нашла на себе многих вещей. Украли браслет, золотую запонку, десять жемчужин из ожерелья и вынули из партмонета рублей сто дених. Я хотела жаловаться графу, но он спал, и так и уехала. Это нехорошо. Графский дом, а воруют как в трактире. Ты скажи графу. Целую тебя и кланяюсь. Твоя любящая Тина».

Что дом его сиятельства изобиловал ворами — для меня не было новостью, и я приобщил письмо Тины к сведениям, уже имевшимся у меня на этот счет в памяти. Рано или поздно — я должен был пустить в дело эти сведения... Я знал воров.

Письмо черноглазой Тины, ее жирный, сочный почерк напомнили мозаиковую гостиную и вызвали во мне желание, похожее на желание опохмелиться, но я превозмог себя и силою своей воли заставил себя работать. Сначала мне было невыразимо скучно разбирать размашистые почерки приставов, но потом мое внимание мало-помалу фиксировалось на краже со взломом, и я стал работать с наслаждением. Целый день сидел я за своим письменным столом, а Поликарп то и дело проходил мимо меня и недоверчиво поглядывал на мою работу. В мое степенство ему не верилось, и он каждую минуту ждал, что я поднимусь из-за стола и прикажу седлать Зорьку; но к вечеру, видя мое упорство, он поверил и выражение угрюмости на лице сменил выражением удовольствия... Он стал ходить на цыпочках, говорил шёпотом... Когда мимо моих окон прошли парни с гармоникой, он вышел на улицу и прокричал:

— Чего вы, черти, здесь расходились? Ходите другой улицей! Нешто не знаете, махаметы, что барин занимается!

Вечером, подав в столовой самовар, он тихо отворил мою дверь и

ласково позвал меня пить чай.

— Пожалуйста чай кушать! — сказал он, нежно вздохнув и почтительно улыбаясь.

А когда я пил чай, он тихо подошел сзади ко мне и поцеловал меня в плечо...

— Вот этак лучше, Сергей Петрович, — забормотал он. — Наплюйте на того белобрысого чërта, чтоб ему... Статочное ли дело при вашем высоком понятии и при вашей образованности малодушием заниматься? Ваше дело благородное... Надо, чтобы все вас ублажали, боялись, а ежели будете с тем чërтом людям головы проламывать да в озере в одежде купаться, то всякий скажет: «Никакого ума! Пустяковый человек!» И пойдет тогда по миру слава! Удаль купцу к лицу, а не благородному... Благородному наука требуется, служба...

— Ну, будет, будет...

— Не путайтесь с графом, Сергей Петрович! А коли желаете дружиться, то чем не человек доктор Павел Иванович? Только что оборванный ходит, да зато ведь ума много!

Искренность Поликарпа меня растеплила... Мне захотелось сказать ему ласковое слово...

— Ты какой роман теперь читаешь? — спросил я его.

— Графа Монте-Кристова. Вот граф! Так это настоящий граф! Непохож на вашего замазуру!

После чая я опять сел за работу и работал до тех пор, пока мои веки не стали опускаться и закрывать утомленные глаза... Ложась спать, я приказал Поликарпу разбудить меня в пять часов.

На другой день, в шестом часу утра, я, весело насвистывая и сбивая тростью головки цветов, шел пешком в Тенево, где в этот день был престольный праздник и куда приглашал меня мой друг «щур», Павел Иванович. Утро было прелестное. Само счастье, казалось, висело над землей и, отражаясь в бриллиантовых росинках, манило к себе душу прохожего... Лес, окутанный утренним светом, был тих и неподвижен, словно прислушивался к моим шагам и чириканию птичьей братии, встречавшей меня выражениями недоверия и испуга... Воздух был пропитан испарениями весенней зелени и своею нежностью ласкал мои здоровые легкие. Я дышал им и, окидывая восторженными глазами простор, чувствовал весну, молодость, и мне казалось, что молодые березки, придорожная травка и гудевшие без умолку майские жуки разделяли это мое чувство.

«И к чему там, в мире, — думал я, — теснится человек в своих тесных



лачугах, в своих узких и тесных идейках, если здесь такой простор для жизни и мысли? Отчего он не идет сюда?»

И мое напозитизированное воображение не хотело мешать себе мыслью о зиме и хлебе, этих двух печалях, загоняющих поэтов в холодный, прозаический Петербург и в нечистоплотную Москву, где платят гонорар за стихи, но не дают вдохновения.

Мимо меня проезжали крестьянские обозы и помещичьи брички, спешившие к обедне и на ярмарку. То и дело приходилось снимать шапку и отвечать на приветливые поклоны мужиков и знакомых помещиков. Всякий предлагал «подвезти», но идти было лучше, чем ехать, и я всякий раз отказывался. Мимо меня, между прочими, проехал на беговых дрожках и графский садовник Франц, в синей куртке и жокейском картузике... Он лениво поглядел на меня сонными, прокисшими глазками и еще ленивее сделал под козырек. Сзади него был привязан пятиведерный бочонок с железными обручами, очевидно, водочный... Противная рожа Франца и его бочонок расстроили несколько мое поэтическое настроение, но скоро поэзия опять восторжествовала, когда я услышал сзади себя шум экипажа и, оглянувшись, увидел тяжелый шарабан, запряженный в пару гнедых лошадок, а в тяжелом шарабане на кожаном ящикообразном сиденье — мою новую знакомку, «девушку в красном», говорившую со мной за два дня до этого про «электричество», убившее ее мать... Хорошенькое, свежеемытое и несколько заспанное личико Оленьки просияло и слегка зарумянилось, когда она увидела меня, шагавшего по краю межи, отделявшей лес от дороги. Она весело закивала мне головой и улыбнулась так приветливо, как улыбаются одни только старые знакомые.

— Доброе утро! — крикнул я ей.

Она сделала мне ручкой и вместе со своим тяжелым шарабаном исчезла с моих глаз, не дав мне наглядеться на ее хорошенькое, свежее личико. На этот раз она не была одета в красное. На ней был какой-то темно-зеленый турнюр с большими пуговицами да широкополая соломенная шляпа, но, тем не менее, она мне понравилась не меньше прежнего. Я с удовольствием поговорил бы с ней и послушал ее голос. Я хотел бы заглянуть в ее глубокие глаза при блеске солнца, как заглядывал в них тогда вечером, при сверкавшей молнии. Мне хотелось посадить ее из некрасивого шарабана и предложить ей пройти остальной путь рядом со мной, что я и сделал бы, если бы не «условия» света. Мне почему-то казалось, что она охотно согласилась бы на это предложение... Недаром она два раза оглянулась на меня, когда шарабан поворачивал за высокие ольхи!..

До Тенева от места моего жительства было шесть верст — расстояние для человека молодого в хорошее утро почти незаметное. В начале седьмого часа я уже пробирался между возами и ярмарочными балаганами к тeneвской церкви. Торговый шум, несмотря на раннее утро и на то, что обедня еще не кончилась, уже стоял в воздухе. Скрипенье возов, ржание лошадей, мычанье коров, игра в игрушечные трубы — всё это мешалось с возгласами барышников-цыган и пением уже успевших «налимониться» мужиков. Сколько веселых, праздничных лиц, сколько типов! Сколько прелести и движения в этой массе, пестреющей яркими цветами платьев, залитой светом утреннего солнца! Всё это, многотысячное, копошилось, двигалось, шумело, чтобы в несколько часов сделать свое дело и к вечеру разъехаться, оставив после себя на площади, как бы в воспоминание, сennые отбросы, кое-где рассыпанный овес и ореховую скорлупу... Народ густыми толпами валил к церкви и от церкви.

Церковный крест испускал из себя золотые лучи, такие же яркие, как и само солнце. Он сверкал и, казалось, сгорал золотым огнем. Ниже его горела тем же огнем церковная глава, и лоснился на солнце свежавыкрашенный зеленый купол, а за сверкающим крестом широко расстилалась прозрачная, далекая синева. Я, пройдя через ограду, наполненную народом, пробрался в церковь. Обедня недавно еще началась, и, когда я вошел, читали еще только апостол. В церкви стояла тишина, нарушаемая чтением да шагами кадившего дьякона. Народ стоял тихо, неподвижно, с благоговением всматриваясь в открытые царские врата и прислушиваясь к протяжному чтению. Деревенские приличия или, вернее, деревенская порядочность строго преследует всякое поползновение к нарушению в церкви благоговейной тишины. Мне всегда становилось совестно, когда меня вынуждало что-нибудь улыбаться в церкви или разговаривать. К несчастью, в редких только случаях я не встречал в церкви своих знакомых, которых у меня, к сожалению, было очень много; обыкновенно же, чуть только, бывало, входил я в церковь, как ко мне тотчас же подходил какой-нибудь «интеллигент» и после длинных предисловий о погоде начинал разговор о своих грошовых делах. Я отвечал «да» и «нет», но был так щепетилен, что был не в силах совсем отказать своему собеседнику во внимании. И моя щепетильность не дешево мне стоила: я беседовал и конфузливо косился на молящихся соседей, боясь, что я оскорбляю их своей праздной болтовней.

И на этот раз не обошлось без знакомых. Войдя в церковь, я у самого входа увидел мою героиню, ту самую «девушку в красном», которую я встретил, пробираясь в Тенево.

Бедняжка, красная как рак и вспотевшая, стояла в толпе и обводила умоляющими глазами все лица, ища избавителя. Она застряла в тесной толпе и, не двигаясь ни назад ни вперед, походила на птичку, которую сильно стиснули в кулаке. Увидев меня, она горько улыбнулась и закивала мне своим хорошеньким подбородком.

— Проводите меня ради бога вперед! — заговорила она, хватая меня за рукав. — Здесь ужасная духота и... тесно... Прошу вас!

— Но ведь и впереди тесно! — сказал я.

— Но там всё чисто одетые, приличные... Здесь простой народ, а для нас отведено место впереди... И вы там должны быть...

Стало быть, красна она была не потому, что в церкви душно и тесно. Ее маленькую головку мучил вопрос местничества! Я внял мольбам суетной девочки и, осторожно расталкивая народ, провел ее до самого амвона, где был уже в сборе весь цвет нашего уездного бомонда. Поставив Оленьку на подобающее ее аристократическим поползновениям место, я стал позади бомонда и занялся наблюдениями.

Мужчины и дамы, по обыкновению, шептались и хихикали. Мировой судья Калинин, жестикулируя пальцами и помахивая головой, вполголоса рассказывал помещику Деряеву о своих болезнях. Деряев почти вслух бранил докторов и советовал мировому полечиться у какого-то Евстрата Иваныча. Дамы, увидев Оленьку, ухватились за нее, как за хорошую тему, и зашушукали. Одна только девушка, по-видимому, молилась... Она стояла на коленях и, устремив свои черные глаза вперед, шевелила губами. Она не заметила, как из-под ее шляпки выпал локон и беспорядочно повис на бледном виске... Она не заметила, как около нее остановился я с Оленькой.

Это была дочь мирового Калинина. Надежда Николаевна. Когда я ранее говорил о женщине, черной кошкой пробежавшей между мною и доктором, то говорил о ней... Доктор любил ее так, как способны любить только такие хорошие натуры, как мой милый «щур» Павел Иванович... Теперь он, как шест, стоял около нее, держа руки по швам и вытянув шею... Изредка он вскидывал свои любящие вопрошающие глаза на ее сосредоточенное лицо... Он словно сторожил ее молитву, и в его глазах светилось страстное, тоскующее желание быть предметом ее молитвы. Но, к его несчастью, он знал, за кого она молилась... Не за него...

Я кивнул Павлу Ивановичу, когда тот оглянулся на меня, и мы оба вышли из церкви.

— Давайте шляться по ярмарке, — предложил я.

Мы закурили папиросы и пошли по лавкам.

— Как поживает Надежда Николаевна? — спросил я доктора, входя с

ним в палатку, в которой продавались игрушки...

— Ничего себе... Кажется, здорова... — отвечал доктор, щурясь на маленького солдатика с лиловым лицом и в пунцовом мундире. — О вас спрашивала...

— Что же она обо мне спрашивала?

— Так, вообще... Сердится, что вы давно у них не бывали... Ей хочется повидаться с вами и спросить вас о причинах такого внезапного охлаждения к их дому... Ездили почти каждый день и потом — на тебе! Словно отрезал... И не кланяется даже.

— Врете, щур... Действительно, я за неимением досуга перестал посещать Калининых... Что правда, то правда. Отношения же мои с этой семьей по-прежнему отменные... Всегда кланяюсь, если встречаю кого-нибудь из них.

Однако, встретившись в прошлый четверг с ее отцом, вы почему-то не нашли нужным ответить на его поклон.

— Я не люблю этого болвана мирового, — сказал я, — и не могу равнодушно глядеть на его рожу, но всё-таки у меня еще хватает силы кланяться ему и пожимать протягиваемую им руку. Вероятно, я не заметил его в четверг или не узнал. Вы сегодня не в духе, щуренька, и придираетесь...

— Люблю я вас, голубчик, — вздохнул Павел Иванович, — но не верю вам... «Не заметил, не узнал...» Не нужно мне ни ваших оправданий, ни отговорок... К чему они, если в них так мало правды? Вы славный, хороший человек, но в вашем больном мозгу есть, торчит гвоздем маленький кусочек, который, простите, способен на всякую пакость...

— Покорнейше благодарим.

— Вы не сердитесь, голубчик... Дай бог, чтоб я заблуждался, но мне кажется, что вы немножко психопат. У вас иногда, вопреки воле и направлению вашей хорошей натуры, вырываются такие желания и поступки, что все знающие вас за порядочного человека становятся в тупик... Диву даешься, как это ваши высоконравственные принципы, которые я имею честь знать, могут уживаться с теми вашими внезапными побуждениями, которые в исходе дают кричащую мерзость! Какой это зверь? — обратился вдруг Павел Иванович к торговцу, переменяя тон и поднося к глазам деревянного зверя с человеческим носом, гривой и серыми полосами на спине.

— Лев, — зевнул продавец. — А може, и другая какая тварь. Шут их разберет!

От игрушечных балаганов мы направились к «красным» лавкам, где

уже кипела торговля.

— Эти игрушки только обманывают детей, — сказал доктор. — Они дают самые превратные понятия о флоре ж фауне. Этот лев, например... Полосат, багров и пищит... Нешто львы пищат?

— Послушайте, щуренька, — сказал я. — По-видимому, вам хочется мне что-то сказать, и вы словно не решаетесь... Говорите... Мне приятно вас слушать даже тогда, когда вы говорите неприятные вещи...

— Приятно, друже, или неприятно, а уж вы послушайте... Мне о многом хотелось бы с вами поговорить...

— Начинайте... Я обращаюсь в одно очень большое ухо.

— Я уже высказал вам свое предположение относительно того, что вы психопат. Теперь не угодно ли выслушать доказательство?.. Я буду говорить откровенно, быть может, иногда несколько резко... вас покоробит от моих слов, но вы не сердитесь, друже... Вы знаете мои к вам чувства: люблю вас больше всех в уезде и уважаю... Говорю вам не ради упрека и осуждений, не для того, чтоб колоть вас. Будем оба объективны, друже... Станем рассматривать вашу психию беспристрастным оком, как печенку или желудок...

— Хорошо, будем объективны, — согласился я.

— Превосходно... Начнем хоть с ваших отношений с Калининым... Если вы справитесь у вашей памяти, то она скажет вам, что вы начали посещать Калининых тотчас же по приезде в наш богоспасаемый уезд. Вашего знакомства не искали... Вы с первого же раза не понравились мировому своим надменным видом, насмешливым тоном и дружбой с кутилой графом, и вам не бывать бы у мирового, если бы вы сами не сделали ему визита. Помните? Вы познакомились с Надеждой Николаевной и стали ездить к мировому чуть ли не каждый день... Бывало, когда ни придешь, вы вечно там... Прием оказывался вам самый радушный. Люди ласкали вас, как только умели... И отец, и мать, и маленькие сестры... Привязались к вам, как к родному... Вами восторгаются, вас носят на руках, хохочут от малейшей вашей остроты... Вы для них образец ума, благородства, джентльменства. Вы словно понимаете всё это и за привязанность платите привязанностью — ездите каждый день, даже в дни подпраздничных приборов и суматох. Наконец, для вас не секрет та несчастная любовь, которую вы возбудили к себе в Наденьке... Ведь не секрет? Вы, знающий, что она в вас по уши влюблена, всё ездите и ездите... И что же, друже? Год тому назад вы вдруг, ни с того ни с сего, внезапно прекращаете свои визиты. Вас ждут неделю... месяц... ждут до сегодня, а вы всё не показываетесь... Вам пишут, вы не отвечаете...

Наконец, вы даже не кланяетесь... Вам, придающему большое значение приличиям, эти ваши поступки должны показаться верхом невежливости! Отчего вы так резко и круто отчалили от Калининых? Вас обидели? Нет... Вам надоело? В таком случае вы могли бы отчалить постепенно, без этой обидной, ничем не мотивированной резкости...

— Перестал в гости ездить, — усмехнулся я, — и попал в психопаты. Как вы наивны, щуренька! Не всё ли равно — сразу ли прекратить знакомство или постепенно? Сразу даже честнее — лицемерия меньше. Какие всё это пустяки, однако!

— Допустим, что всё это пустяки или что вас заставили так круто повернуть причины скрытые, до которых нет дела постороннему оку. Но чем объяснить ваши дальнейшие поступки?

— Например?

— Например, вы являетесь однажды в нашу земскую управу, — не знаю, какое было у вас там дело, — и на вопрос председателя, отчего вас не стало видно у Калининых, вы сказали... Припомните-ка, что вы сказали! «Боюсь, что меня женят!» Вот что сорвалось с вашего языка! И это вы сказали во время заседания, громко, отчетливо, — так, что могли вас слышать все сто человек, бывшие в зале заседания! Красиво? В ответ на ваши слова слышатся смех и скабрёзные остроты на тему о ловле женихов. Вашу фразу подхватывает какой-то мерзавец, идет к Калининым и подносит ее Наденьке во время обеда... За что такая обида, Сергей Петрович?

Павел Иванович загородил мне дорогу, стал передо мной и продолжал, глядя мне в лицо умоляющими, почти плачущими глазами:

— За что такая обида? За что? За то, что эта хорошая девушка вас любит? Допустим, что отец, как и всякий отец, имел поползновения на вашу особу... Он, по-отечески, всех имеет в виду: и вас, и меня, и Маркузина... Все родители одинаковы... Нет сомнения, что и она, по уши влюбленная, быть может, надеялась стать вашей женой... Так за это давать такую звонкую пощечину? Дяденька, дяденька! Не вы ли сами добивались этих поползновений на вашу особу? Вы каждый день ездили, обыкновенные гости так часто не ездят. Днем вы удили с нею рыбу, вечерами гуляли в саду, ревниво оберегая ваше tkte-a-tkte... Вы узнали, что она любит вас и ни на йоту не изменили вашего поведения... Можно было после этого не подозревать в вас добрых намерений? Я был уверен, что вы на ней женитесь! И вы... вы пожаловались, посмеялись! За что? Что она вам сделала?

— Не кричите, щуренька, народ смотрит, — сказал я, обходя Павла

Ивановича. — Прекратим этот разговор. Это бабий разговор... Скажу вам только три строчки, и будет с вас. Ездил я к Калининым, потому что скучал и интересовался Наденькой... Она очень интересная девица... Может быть, я и женился бы на ней, но, узнав, что вы ранее меня попали в претенденты ее сердца, узнав, что вы к ней равнодушны, я порешил стушеваться... Жестоко было бы с моей стороны мешать такому хорошему малому, как вы...

— Мерсі за одолжение! Я вас не просил об этой милостивой подачке, и, насколько могу судить теперь по выражению вашего лица, вы говорите сейчас неправду, говорите зря, не вдумываясь в ваши слова... И потом то обстоятельство, что я славный малый, не помешало вам, однако, в одно из последних ваших посещений сделать Наденьке в беседке предложение, от которого не поздоровилось бы славному малому, если бы он на ней женился!

— Эге-ге!.. Откуда вам известно об этом предложении, щуренька? Стало быть, ваши дела недурно идут, если вам стали уже поверять такие тайны!.. Но, однако, вы побледнели от злости и чуть ли не собираетесь бить меня... А еще тоже уговаривался быть объективным! Какой вы смешной, щуренька! Ну, бросим эту галиматью... Пойдем на почту...

Мы направились к почтовому отделению, которое весело глядело своими тремя окошечками на базарную площадь. Сквозь серый палисадник пестрел цветник нашего приемщика Максима Федоровича, известного в нашем уезде знатока по части устройства клумб, гряд, газонов и проч.

Максима Федоровича мы застали за очень приятным занятием... Красный от удовольствия и улыбающийся, он сидел за своим зеленым столом и, как книгу, перелистывал толстую пачку сторублевых бумажек. По-видимому, на расположение его духа мог влиять вид даже чужих денег.

— Здравствуйте, Максим Федорыч! — поздоровался я с ним. — Откуда это у вас такая куча денег?

— А вот-с, в Санкт-Петербург отправляют! — сладенько улыбнулся приемщик и указал подбородком в угол, где на единственном имевшемся в почтовом отделении стуле сидела темная человеческая фигура... Увидев меня, эта фигура поднялась и подошла ко мне. В ней я узнал моего нового знакомого, моего новоиспеченного врага, которого я так обидел, когда напился у графа...

— Мое почтение, — сказал он.

— Здравствуйте, Каэтан Казимирович, — ответил я, делая вид, что не вижу протянутой им руки. — Граф здоров?

— Слава богу... Скучает только немножко... Вас ждет к себе каждую

минуту...

На лице Пшехоцкого я прочел желание побеседовать со мною. Откуда могло явиться такое желание после той «свиньи», которой я угостил его в тот вечер, и откуда такая перемена в обращении?

— Как много у вас денег! — сказал я, глядя на посылаемые им пачки сторублевок.

И словно кто толкнул меня по мозгам! У одной из сторублевок я увидел обожженные края и совершенно сгоревший угол... Это была та самая сторублевка, которую я хотел сжечь на огне Шандора, когда граф отказался взять ее у меня на уплату цыганам, и которую поднял Пшехоцкий, когда я бросил ее на землю.

— Лучше я бедному отдам кому-нибудь, — сказал он тогда, — чем отдавать их огню.

Каким же «бедным» посылал он ее теперь?

— Семь тысяч пятьсот рублей, — протяжно сосчитал Максим Федорыч. — Совершенно верно!

Неловко вторгаться в чужие тайны, но ужасно мне хотелось узнать, кому и чьи это деньги посылал в Петербург чернобровый поляк? Деньги эти во всяком случае были не его, графу же некому было посылать их.

«Обобрал пьяного графа, — подумал я. — Если графа умеет обирать глухая и глупая Сычиха, то что стоит этому гусю запустить в его карман свою лапу?»

— Ах... кстати, и я пошлю деньги, — спохватился Павел Иванович. — Знаете, господа? Даже невероятно! За пятнадцать рублей пять вещей с пересылкой! Зрительная труба, хронометр, календарь и еще что-то... Максим Федорыч, одолжите мне листик бумажки и конверт!

Щур послал свои пятнадцать рублей, я получил газеты и письма, и мы вышли из почтовой конторы...

Мы направились к церкви. Щуренька шагал за мной, бледный и унылый, как осенний день. Сверх ожидания, его сильно встревожил разговор, в котором он старался показать себя «объективным».

В церкви трезвонили. С паперти медленно спускалась густая толпа, которой, казалось, и конца не было. Из толпы высились ветхие хоругви и темный крест, предшествовавшие крестному ходу. Солнце весело играло на ризах духовенства, а образ божьей матери испускал от себя ослепительные лучи...

— А вон и наши! — сказал доктор, указывая на наш уездный бомонд, отделившийся от толпы и стоявший в стороне.

— Ваши, а не наши, — сказал я.



— Это всё равно... Подойдемте к ним...

Я подошел к знакомым и стал раскланиваться. Мировой судья Калинин, высокий плечистый человек с седой бородой и выпуклыми рачьими глазами, стоял впереди всех и что-то шептал на ухо своей дочери. Делая вид, что он меня не замечает, он ни одним движением не ответил на мой «общий» поклон, направленный в его сторону.

— Прощай же, ангелочек, — проговорил он плачущим голосом, целуя дочь в ее бледный лоб. — Поезжай домой одна, а к вечеру я возвращусь... Визиты мои будут продолжаться очень недолго.

Поцеловав дочь еще раз и сладенько улыбнувшись бомонду, он строго нахмурил брови и круто повернулся на одном каблуке к стоявшему позади него мужику с бляхой сотского.

— Скоро же, наконец, подадут мне лошадей? — прохрипел он.

Сотский вздрогнул и замахал руками.

— Берегись!

Толпа, шедшая за крестным ходом, раздвинулась, и лошади мирового с шиком и звоном бубенчиков подкатили к Калинину. Тот сел, величественно поклонился и, тревожа толпу своим «берегись», скрылся из глаз, не подарив меня ни одним взглядом.

— Эдакая величественная свинья, — прошептал я на ухо доктору. — Пойдемте отсюда!

— А разве вы не хотите поговорить с Надеждой Николаевной? — спросил Павел Иванович.

— Мне уж пора домой. Некогда.

Доктор сердито поглядел на меня, вздохнул и отошел. Я отдал общий поклон и направился к балаганам. Пробираясь сквозь густую толпу, я оглянулся и поглядел на дочь мирового. Она глядела мне вслед и словно пробовала, вынесу я или нет ее чистый, пронизывающий взгляд, полный горькой обиды и упрека.

— За что?! — говорили ее глаза.

Что-то закопошилось в моей груди, и мне стало больно и стыдно за свое глупое поведение. Мне захотелось вдруг воротиться и всеми силами своей мягкой, не совсем еще испорченной души приласкать и приголубить эту горячо меня любившую, мною обиженную девушку и сказать ей, что виноват не я, а моя проклятая гордость, не дающая мне жить, дышать, ступить шаг. Гордость, глупая, фатовская, полная суетности. Мог ли я, пустой человек, протянуть руку примирения, если я знал и видел, что за каждым моим движением следили глаза уездных кумушек и «старух зловещих»? Пусть лучше они осыплют ее насмешливыми взглядами и

улыбками, чем разуверятся в «непреклонности» моего характера и гордости, которые так нравятся во мне глупым женщинам.

Говоря ранее с Павлом Ивановичем о причинах, заставивших меня внезапно прекратить свои поездки к Калининым, я был неоткровенен и совсем неточен... Я скрыл настоящую причину, скрыл ее потому, что стыдился ее ничтожности... Причина была мелка, как порох... Заключалась она в следующем. Когда я в последнюю мою поездку, отдав кучеру Зорьку, входил в калининский дом, до моих ушей донеслась фраза:

— Наденька, где ты? Твой жених приехал!

Это говорил ее отец, мировой, не рассчитывая, вероятно, что я могу услышать его. Но я услышал, и самолюбие мое заговорило.

«Я жених? — подумал я. — Кто же тебе позволил называть меня женихом? На каком основании?»

И словно что оторвалось в моей груди... Гордость забушевала во мне, и я забыл всё, что помнил, едучи к Калининым... Я забыл, что я увлек девушку и сам начал уже увлекаться ею до того, что ни одного вечера не был в состоянии провести без ее общества... Я забыл ее хорошие глаза, которые день и ночь не выходили из моей памяти, ее добрую улыбку, мелодичный голос... Забыл тихие, летние вечера, которые уже никогда не повторятся ни для меня, ни для нее... Всё рухнулось под напором дьявольской гордыни, взбудораженной глупой фразой простака отца... Взбешенный, я воротился из дому, сел на Зорьку и ускакал, давая себе клятву «утереть нос» Калинину, осмелившемуся без моего дозволения записать меня в женихи своей дочери...

«Кстати же, Вознесенский любит ее... — оправдывал я свой внезапный отъезд, едучи домой. — Он ранее меня начал вертеться около нее и уже считался женихом, когда я с нею познакомился. Не стану ему мешать!»

И с тех пор я ни разу не был у Калининых, хотя и бывали минуты, когда я страдал от тоски о Наде и рвалась душа моя, рвалась к возобновлению прошлого... Но весь уезд знал о происшедшем разрыве, знал, что я «удрал от женитьбы...» Не могла же моя гордость сделать уступки!

Кто знает? Не скажи Калинин той фразы и не будь я так глупо горд и щепетилен, быть может, мне не понадобилось бы оглядываться, а ей — глядеть на меня такими глазами... Но пусть лучше такие глаза, пусть лучше это чувство обиды и упрек, чем то, что я увидел в этих глазах несколько месяцев спустя после встречи у тневской церкви! Горе, светившееся теперь в глубине этих черных глаз, было только началом того страшного

несчастья, которое, как внезапно налетевший поезд, стерло с лица земли эту девушку... Что цветки перед теми ягодками, которые уже созревали для того, чтобы влить страшную отраву в ее хрупкое тело и тоскующую душу!

Выйдя из Тенева, я пошел той же дорогой, что шел и утром. Солнце показывало уже полдень... Крестьянские телеги и помещичьи брички, как и утром, услаждали мой слух своим скрипом и металлическим ворчаньем бубенчиков. Опять проехал садовник Франц с водочным бочонком, на этот раз, вероятно, полным... Опять он взглянул на меня своими кислыми глазками и сделал мне под козырек. Меня покорило от его противной физиономии, но и на этот раз тяжелое впечатление, произведенное встречей с ним, как рукой сняла дочка лесничего Оленька, догнавшая меня на своем тяжелом шарабане...

— Подвезите меня! — крикнул я ей.

Она весело закивала мне головой и остановила возницу. Я сел рядом с ней, и шарабан с треском покатил по дороге, светлой полосой тянувшейся через трехверстную просеку теневого леса. Минуты две мы молча разглядывали друг друга.

«Какая она, в самом деле, хорошенькая! — думал я, глядя на ее шейку и пухленький подбородок. — Если бы мне предложили выбирать кого-нибудь из двух — Наденьку или ее, то я остановился бы на этой... Эта естественнее, свежей, натура у нее шире и размашистей... Попадись она в хорошие руки — из нее многое можно было бы сделать! А та угрюма, мечтательна... умна».

У ног Оленьки лежали две штуки полотна и несколько свертков.

— Сколько у вас покупок! — сказал я. — На что вам столько полотна?

— Мне еще не столько нужно!.. — ответила Оленька. — Это я так купила, между прочим... Вы не можете себе представить, сколько хлопот! Сегодня вот по ярмарке целый час ходила, а завтра придется в город ехать за покупками... А потом извольте шить... Послушайте, у вас нет таких знакомых женщин, которых можно было бы нанять шить?

— Кажется, нет... Но для чего вам столько покупок? К чему шить? Ведь у вас семья не бог весть как велика... Раз, два... да и обчелся...

— Какие вы, все мужчины, странные! И ничего вы не понимаете! Вот, когда женитесь, так сами же будете сердиться, если жена ваша после венца придет к вам растрепкой. Я знаю, Петр Егорыч не нуждается, но все-таки неловко как-то с первого же раза себя не хозяйкой показать...

— При чем же тут Петр Егорыч?

— Гм... Смеется, точно и не знает! — сказала Оленька, слегка краснея.

— Вы, барышня, говорите загадками...

— Да разве вы не слышали? Ведь я выхожу замуж за Петра Егорыча!

— Замуж? — удивился я, делая большие глаза. — За какого Петра Егорыча?

— Фу, боже мой! Да за Урбенина!

Я поглядел на ее краснеющее и улыбающееся лицо...

— Вы... замуж? За Урбенина? Этакая ведь шутница!

— Никаких тут шуток нет... Не понимаю даже, что тут шуточного...

— Вы замуж... за Урбенина... — проговорил я, бледнея, сам не зная отчего. — Если это не шутка, то что же это такое?

— Какие шулки!.. Не знаю даже, что тут такого удивительного, странного... — проговорила Оленька, надувая губки.

Минута прошла в молчании... Я глядел на красивую девушку, на ее молодое, почти детское лицо и удивлялся, как это она может так страшно шутить? Сразу я представил себе рядом с нею пожилого, толстого, краснолицего Урбенина с оттопыренными ушами и жесткими руками, прикосновение которых может только царапать молодое, только что еще начавшее жить женское тело... Неужели мысль о подобной картине не может пугать хорошенькую лесную фею, умеющую поэтически глядеть на небо, когда на нем бегают молнии и сердито ворчит гром? Я — и то испугался!

— Правда, он несколько стар, — вздохнула Оленька, — но зато ведь он меня любит... Его любовь надежная.

— Дело не в надежной любви, а в счастье...

— С ним я буду счастлива... Состояние у него — слава богу, и не голяк он какой-нибудь, не нищий, а дворянин. Я в него, конечно, не влюблена, но разве только те и счастливы, которые по любви женятся? Знаю я эти браки по любви!

— Дитя мое, — спросил я, с ужасом глядя в ее светлые глаза, — когда вы успели нафаршировать вашу бедную головку этой ужасной житейской мудростью? Допустим, что вы шутите со мной, но где вы научились так старчески грубо шутить?... Где? Когда?

Оленька поглядела на меня с удивлением и пожала плечами...

— Я не понимаю, что вы говорите... — сказала она. — Вам неприятно, что молодая девушка выходит за старика? Да?

Оленька вдруг вспыхнула, задвигала нервно подбородком и, не дожидаясь моего ответа, проговорила быстро:

— Вам это не нравится? Так извольте вы сами идти в лес... в эту скуку, где нет никого, кроме кобчиков да сумасшедшего отца... и ждите там, пока придет молодой жених! Вам понравилось тогда вечером, а

поглядели бы вы зимой, когда рада бываешь... что вот-вот смерть придет...

— Ах, всё это нелепо, Оленька, всё это незрело, глупо! Если вы не шутите, то... я уж не знаю, что и говорить! Замолчите лучше и не оскорбляйте воздуха вашим язычком! Я, на вашем бы месте, на семи осинах удавился, а вы полотно покупаете... улыбаетесь! Ах-ах!

— По крайней мере, он на свои средства отца лечить будет... — прошептала она...

— Сколько вам нужно на лечение отца? — закричал я. — Возьмите у меня! Сто?.. двести?.. тысячу? Лжете вы, Оленька! Вам не лечение отца нужно!

Новость, сообщенная мне Оленькой, так меня взволновала, что я и не заметил, как шарабан наш проехал мимо моей деревеньки, как он въехал на графский двор и остановился у крыльца управляющего... Увидев выбежавших детишек и улыбающееся лицо Урбенина, подскочившего высаживать Оленьку, я выпрыгнул из шарабана и, не простившись, побежал к графскому дому. Здесь ждала меня новая новость.

— Как кстати! Как кстати! — встретил меня граф, царапая мою щеку своими длинными, колючими усами. — Удачнее времени ты и выбрать не мог! Мы только сию минуту сели завтракать... Ты, конечно, знаком вот... Не раз уж, небось, имел столкновение по вашей судейской части... Ха-ха!

Граф обеими руками указал мне на двух мужчин, сидевших на мягких креслах и евших холодный язык. В одном я имел неудовольствие узнать мирового судью Калинина, другой же, маленький седенький старичок с большой лунообразной лысиной, был мой хороший знакомый, Бабаев, богатый помещик, занимавший в нашем уезде должность непрямого члена. Раскланиваясь, я с удивлением поглядел на Калинина... Я знал, как ненавидел он графа и какие слухи пускал он по уезду про того, у которого теперь ел с таким аппетитом язык с горошком и пил десятилетнюю наливку. Как мог порядочный человек объяснить этот его визит? Мировой уловил мой взгляд и, вероятно, понял его.

— Сегодняшний день посвятил я визитам, — сказал он мне. — Весь уезд объезжаю... И к его сиятельству заехал, как видите...

Илья подал четвертый прибор. Я сел, выпил рюмку водки и стал завтракать...

— Нехорошо, ваше сиятельство... Нехорошо! — продолжал Калинин разговор, прерванный моим приходом. — Нам, маленьким людям, не грех, а вы человек знатный, богатый, блестящий... Вам грех манкировать.

— Это верно, что грех... — согласился Бабаев.

— В чем дело? — спросил я.

— Хорошую мысль подал мне Николай Игнатьич! — кивнул граф на мирового. — Приходит он ко мне... садится завтракать, и жалуясь я ему на скуку...

— И жалуются они мне на скуку... — перебил графа Калинин. — Скучно, грустно... то да се... Одним словом, разочарован... Онегин некоторым образом... Сами, говорю, виноваты, ваше сиятельство... Как так? Очень просто... Вы, говорю, чтобы скучно не было, служите... хозяйством занимайтесь... Хозяйство превосходное, дивное... Говорят, что они намерены заняться хозяйством, но все-таки скучно... Нет у них, так сказать, увеселяющего, возбуждающего элемента. Нет этого... как бы так выразиться... ээ... того... сильных ощущений...

— Ну, так какую же мысль вы подали?

— Собственно говоря, я не подавал никакой мысли, но только осмелился сделать его сиятельству упрек. Как это, говорю, вы, ваше сиятельство, такой молодой... образованный, блестящий, можете жить в такой замкнутости? Разве, говорю, это не грех? Вы никуда не выезжаете, сами никого не принимаете, нигде вас не видно... как старик какой-нибудь или отшельник... Что стоит, говорю, вам устраивать у себя собрания... журфикисы, так сказать?

— Для чего же ему сдались эти журфикисы? — спросил я.

— Как для чего? Во-первых, тогда его сиятельство, ежели у него будут вечера, познакомится с обществом... изучит, так сказать... Во-вторых, и общество будет иметь честь поближе познакомиться с одним из наиболее наших землевладельцев... Взаимный, так сказать, обмен мыслей, разговоры, веселье... А сколько у нас, ежели рассуждать, образованных барышень, кавалеров!.. Какие можно задавать музыкальные вечера, танцы, пикники — посудите только! Залы огромные, в саду беседки и... прочее... Такие любительские спектакли и концерты можно задавать, что никому в губернии не снилось... Да ей-богу! Посудите сами!.. Теперь всё это почти пропадает даром, в землю закопано, а тогда... понять только нужно! Имей я такие средства, как у его сиятельства, я показал бы, как надо жить! А они говорят: скучно! Даже, ей-богу... слушать смешно... совестно даже...

И Калинин замигал глазами, желая показать вид, что ему действительно совестно...

— Это вполне справедливо, — сказал граф, вставая и засовывая руки в карманы. — У меня могут выходить отличные вечера... Концерты, любительские спектакли... всё это действительно можно прелестно устроить. И к тому же эти вечера будут не только веселить общество, но

они будут иметь и воспитывающее влияние!.. Не правда ли?

— Ну да, — согласился я. — Как посмотрят наши барышни на твою усатую физиономию, так сразу и проникнутся духом цивилизации...

— Ты всё шутишь, Сережа, — обиделся граф, — а никогда ты мне дружески не посоветуешь! Всё тебе смешно! Пора, мой друг, оставить эти студенческие замашки!

Граф зашагал из угла в угол и в длинных, скучных предположениях начал описывать мне пользу, какую могут принести человечеству его вечера. Музыка, литература, сцена, верховая езда, охота. Одна охота может сплотить воедино все лучшие силы уезда!..

— Мы с вами поговорим еще об этом! — сказал граф Калинину, прощаясь с ним после завтрака.

— Так позвольте, стало быть, уезду надеяться, ваше сиятельство? — спросил мировой.

— Конечно, конечно... Я разовью эту мысль, постараюсь... Я рад... даже очень... Так всем и скажите...

Нужно было видеть то блаженство, которое было написано на лице мирового, когда он садился в свой экипаж и говорил: «Пошел!» Он так обрадовался, что забыл даже наши с ним контры и на прощанье назвал меня голубчиком и крепко пожал мне руку.

По отъезде визитеров я и граф сели за стол и продолжали завтракать. Завтракали мы до семи часов вечера, когда с нашего стола сняли посуду и подали нам обед. Молодые пьяницы знают, как коротать длинные антракты. Мы всё время пили и ели по маленькому кусочку, чем поддерживали аппетит, который пропал бы у нас, если бы мы совсем бросили есть.

— Ты посылал сегодня кому-нибудь деньги? — спросил я графа, вспомнив те пачки сторублевок, которые видел утром в тeneвском почтовом отделении.

— Никому.

— Скажи, пожалуйста, а твой этот... как его?.. новый друг, Казимир Каэтаныч или Каэтан Казимирович, богатый человек?

— Нет, Сережа. Это бедняк!.. Но зато какая душа, какое сердце! Ты напрасно так презрительно говоришь о нем и... нападаешь на него... Надо, брат, научиться различать людей. Выпьем еще по рюмке?

К обеду воротился Пшехоцкий. Увидев меня, сидящего за столом и пьющего, он поморщился и, повертись около нашего стола, нашел лучшим удалиться в свою комнату. От обеда он отказался, ссылаясь на головную боль, но не выразил ничего против, когда граф посоветовал ему пообедать в своей комнате, в постели.

Во время второго блюда вошел Урбенин. Я не узнал его. Его широкое, красное лицо сияло удовольствием. Довольная улыбка, казалось, играла даже на оттопыренных ушах и толстых пальцах, которыми он то и дело поправлял свой новый, франтоватый галстук.

— Корова у нас заболела, ваше сиятельство, — доложил он. — Посылал я за нашим ветеринаром, а оказывается, что он уехал. Не послать ли, ваше сиятельство, за городским ветеринаром? Если я пошлю, то он не послушается, не поедет, а если вы ему напишете, то тогда другое дело. Может быть, у коровы пустяк, а может, и что другое.

— Хорошо, я напишу... — пробормотал граф.

— Поздравляю вас, Петр Егорыч, — [\[6\]](#) вставая и протягивая управляющему руку.

— С чем-с? — прошептал он.

— Ведь вы женитесь!

— Да, да, представь себе, женится! — заговорил граф, мигая глазом на краснеющего Урбенина. — Каков? Ха-ха-ха! Молчал-молчал, да вдруг — на тебе! И знаешь, на ком он женится? Мы тогда вечером с тобой угадали! Мы, Петр Егорыч, тогда же еще порешили, что в вашем шалунишке-сердце творится что-то такое неладное. Как поглядел он на вас и Оленьку, «ну, говорит, втюрился малый!» Ха-ха! Садитесь с нами обедать, Петр Егорыч!

Урбенин осторожно и почтительно сел, позвал глазами Илью и приказал ему подать себе супу. Я налил ему рюмку водки.

— Я не пью-с, — сказал он.

— Полноте, вы еще больше нашего пьете.

— Пил-с, а теперь уж не пью, — улыбнулся управляющий. — Теперь мне нельзя пить... Незачем... Всё, слава богу, прошло благополучно, всё устроилось, и так именно, как хотело мое сердце, даже больше, чем мог я ожидать.

— Ну, на радостях хоть этого выпейте, — сказал я, наливая ему хересу.

— Этого, пожалуй. А пил я действительно много. Теперь могу покаяться перед его сиятельством. От утра до ночи, бывало. Как встанешь утром, вспомнишь это самое... ну и, естественно, к шкафчику сейчас же. Теперь, слава богу, нечего водкой заглушать.

Урбенин выпил стакан хересу. Я налил ему другой. Он выпил и этот и незаметно опьянел...

— Даже не верится... — сказал он, засмеявшись вдруг счастливым детским смехом. — Гляжу вот на это кольцо, припоминаю ее слова, которыми она выразила свое согласие, и не верю... Смешно даже... Ну, могли я в свои годы, при своей такой наружности, надеяться, что эта достойная



девушка не побрезгует стать моей... матерью моих сироток? Ведь она красавица, как изволили вы видеть, ангел во плоти! Чудеса да и только! Вы еще мне налили?... Пожалуй, в последний раз уж... С горя пил, выпью и на радостях. А как я мучился, господа, сколько горя вынес! Увидал ее год тому назад и — верите ли? — с той поры не было ни одной ночи, чтоб я спал спокойно, не было дня, чтоб я не заливал водкой этой... слабости глупой, не бранил себя за глупость... Бывало, гляжу на нее в окно, люблюсь и... волосы рву у себя на голове... В пору бы вешаться... Но, слава богу... рискнул, сделал предложение, и точно, знаете ли, меня обухом! Ха-ха! Слышу и ушам не верю... Она говорит: «Согласна», а мне кажется: «Убирайся ты, старый хрен, к чёрту»... После, когда уж она меня поцеловала, убедился...

Пятидесятилетний Урбенин при воспоминании о первом поцелуе с поэтической Оленькой закрыл глаза и зарделся, как мальчишка... Мне показалось это противным...

— Господа, — сказал он, глядя на нас счастливыми, ласковыми глазами. — Отчего вы не женитесь? Зачем вы тратите попусту, кидаете за окно свои жизни? Отчего вы так чуждаетесь того, что составляет лучшее благо всего живущего на земле? Ведь наслаждения, которые дает разврат, не дают и сотой доли того, что дала бы вам тихая, семейная жизнь! Молодые люди... ваше сиятельство и вы, Сергей Петрович... я счастлив теперь и... видит бог, как я люблю вас обоих! Простите мне мои глупые советы, но... счастья ведь я хочу для вас! Отчего вы не женитесь? Семейная жизнь есть благо... Она — долг всякого!..

Счастливый и умильный вид старика, женящегося на молоденькой и советующего нам переменить нашу развратную жизнь на тихую, семейную, стал мне невыносим.

— Да, — сказал я, — семейная жизнь есть долг. Я с вами согласен. Стало быть, этот долг вы исполняете уже во второй раз?

— Да, во второй. Я вообще люблю семейную жизнь. Быть холостым или вдовым для меня — жизнь наполовину. Что ни говорите, господа, а супружество — великое дело!

— Конечно... Даже и тогда, если муж чуть ли не в три раза старше своей супруги?

Урбенин покраснел. Рука, несшая ко рту ложку с супом, задрожала, и суп вылился обратно в тарелку.

— Я понимаю, что вы хотите сказать, Сергей Петрович, — пробормотал он. — Благодарю вас за откровенность. Я и сам себя спрашиваю: не подло ли? Мучаюсь! Но где тут спрашивать себя, решать

разные вопросы, когда каждую минуту чувствуешь, что ты счастлив, когда ты забываешь свою старость, уродство... всё! Номо sum<sup>[7]</sup>, Сергей Петрович! А когда на секундочку забегают в мою башку вопросы о неравенстве лет, я не лезу в карман за ответом и успокаиваю себя, как умею. Мне кажется, что я дал Ольге счастье. Я дал ей отца, а детям моим мать. Впрочем, всё это на роман похоже, и... у меня кружится голова. Напрасно вы меня хересом напоили.

Урбенин встал, вытер салфеткой лицо и опять сел. Через минуту он выпил залпом стакан, поглядел на меня продолжительным, умоляющим взглядом, словно прося у меня пощады, потом вдруг плечи его задрожали, и он неожиданно зарыдал, как мальчик.

— Это ничего-с... Ничего-с, — забормотал он, пересиливая рыданье. — Не беспокойтесь. Мое сердце, после ваших слов, сжало какое-то предчувствие. Но это ничего-с.

Предчувствие Урбенина сбылось, сбылось так скоро, что я не успеваю переменить перо и начать новую страницу. С следующей главы моя покойная муза выражение покоя на лице сменяет выражением гнева и скорби. Предисловие кончено, и начинается драма.

Преступная воля человека вступает в свои права.

Я помню хорошее воскресное утро. В окна графской церкви видно прозрачное, голубое небо, а всю церковь, от расписного купола до пола, пронизывает матовый луч, в котором весело играют клубы ладанного дыма... В открытые окна и двери несется пение ласточек и скворцов... Один воробей, по-видимому, смельчак большой руки, влетел в дверь и, покружившись с чириканьем над нашими головами, окунувшись несколько раз в матовый луч, вылетел в окно... В самой церкви тоже пение... Поют складно, с чувством и с тем увлечением, на которое способны наши певцы-малороссы, когда чувствуют себя героями минуты и когда видят, что на них то и дело оглядываются... Мотивы всё больше веселые, игривые, как светлые, солнечные «зайчики», играющие на стенах и одеждах слушающих... В необработанном, но мягком и свежем теноре мое ухо, несмотря на веселый свадебный мотив, улавливает трудную, унылую струнку, словно этому тенору жаль, что рядом с хорошенькой, поэтической Оленькой стоит тяжелый, медведеобразный и отживающий свой век Урбенин... Да и не одному тенору жалко глядеть на эту неравную пару... На многочисленных лицах, которыми усеяно мое поле зрения, как бы они ни старались казаться веселыми и беспечными, даже идиот мог бы прочесть сожаление.

Я, облеченный в новую фракную пару, стою позади Оленьки и держу

над нею венец. Я бледен и не совсем здоров... Голова трещит от вчерашней попойки и прогулки по озеру, и я то и дело поглядываю, не дрожит ли моя рука, держащая венец... На душе моей скверно и жутко, как в лесу в дождливую осеннюю ночь. Мне досадно, противно, жалко... За сердце скребут кошки, напоминающие несколько угрызения совести... Там, в глубине, на самом дне моей души, сидит бесенок и упрямо, настойчиво шепчет мне, что если брак Оленьки с неуклюжим Урбениным — грех, то и я повинен в этом грехе... Откуда могут быть такие мысли? Разве я мог спасти эту юную дурочку от ее непонятного риска и несомненной ошибки?..

— А кто знает! — шепчет бесенок. — Тебе это лучше знать! Видал я на своем веку много неравных браков, не раз стоял перед картиной Пукирева, читал много романов, построенных на несоответствии между мужем и женой, знал, наконец, физиологию, безапелляционно казнящую неравные браки, но ни разу еще в жизни не испытывал того отвратительного душевного состояния, от которого никакими силами не могу отделаться теперь, стоя за спиной Оленьки и исполняя обязанности шафера... Если мою душу волнует одно только сожаление, то отчего же я не знал этого сожаления ранее, присутствуя на других свадьбах?..

— Тут не сожаление, — шепчет бесенок. — Ревность...

Но ревновать можно только тех, кого любишь, а разве я люблю девушку в красном? Если любить всех девушек, которых я встречаю, живя под луной, то не хватит сердца, да и слишком жирно...

Мой друг, граф Карнеев, стоит позади, у самой церковной двери, за ктиторским шкафом, и продает свечи. Он прилизан, примазан и испускает из себя наркотический, удушливый запах духов. Сегодня он выглядывает таким душкой, что, здороваясь с ним утром, я не удержался, чтобы не сказать:

— Сегодня ты, Алексей, выглядываешь идеальным кадильщиком!

Каждого входящего и выходящего он провожает слащавой улыбкой, и я слышу, какими тяжеловесными комплиментами награждает он всякую даму, покупающую у него свечку. Он, баловень судьбы, никогда не имевший медных денег и не умеющий обращаться с ними, то и дело роняет на пол пятаки и трешники. Около него, облокотившись о шкаф, стоит величественный Калинин с Станиславом на шее. Физиономия его сияет и лоснится. Он рад, что его идея о «журфиксах» пала на добрую почву и уже начинает давать плод. В глубине души он сыплет Урбенину тысячи благодарностей: его свадьба нелепость, но, тем не менее, к ней легко придаться, чтобы устроить первый журфикс.

Тщеславная Оленька должна была радоваться... От венчального аналога до самых царских врат тянутся два ряда представительниц нашего уездного цветника... Гости разодемы так, как разоделись бы они, если бы женился сам граф: лучших нарядов и желать нельзя... Тут всё больше аристократки... Ни одной попадьи, ни одной купчихи... Есть даже такие, которым Оленька ранее не считала себя вправе даже кланяться... Жених Оленьки — управляющий, привилегированный слуга, но от этого не может страдать ее тщеславие... Он дворянин и имеет в соседнем уезде заложенное имение. Отец его был уездным предводителем, а сам он уже девять лет состоит мировым судьей своего родного уезда... Чего же еще нужно честолюбию дочери личного дворянина? Даже ее шафер, известный всей губернии бонвиван и Дон-Жуан, может пощекотать ее гордость... На него заглядываются все гости... Он эффектен, как сорок тысяч шаферов, взятых вместе, и, что немаловажное всего, не отказался быть у нее, простушки, шафером, когда известно, что он даже и аристократам отказывает, когда они приглашают его в шафера...

Но тщеславная Оленька не радуется... Она бледна, как полотно, которое она недавно везла с тeneвской ярмарки. Рука ее, держащая свечу, слегка дрожит, подбородок изредка вздрагивает. В глазах какое-то оупение, словно она внезапно чему-то изумилась, испугалась... Нет и следа той веселости, которая светила в ее глазах, когда она не дальше как вчера бегала по саду и с увлечением рассказывала, какие обои будут в ее гостиной, в какие дни она будет приглашать к себе гостей и проч. Лицо ее теперь слишком серьезно, более, чем того требует торжественность случая...

Урбенин в новой фрачной паре. Одет он прилично, но причесан так, как причесывались православные в двенадцатом году. Он, по обыкновению, красен и серьезен. Его глаза молятся, и те крестные знамения, которые делает он после каждого «Господи, помилуй», не машинальны.

Позади меня стоят дети Урбенина от первого брака — гимназист Гриша и белокурая девочка Саша. Они глядят на красный затылок и оттопыренные уши отца, и лица их изображают вопросительные знаки. Им непонятно, на что их отцу сдалась тетя Оля и зачем он берет ее к себе в дом. Саша только удивлена, четырнадцатилетний же Гриша нахмурен и глядит исподлобья. Наверное, он ответил бы отказом, если бы отец попросил у него позволения жениться...

Венчальный обряд совершают с особенной торжественностью. Служат три священника и два дьякона. Служат долго, до того долго, что рука моя устает держать венец, и дамы, любящие вообще смотреть венчанье,

перестают глядеть на молодых. Благодичинный читает молитвы с расстановкой, не пропуская ни одной; певчие поют что-то длинное нотное; дьячок, пользуясь случаем прихвастнуть своей октавой, читает апостола с «сугубою протяжностью»... Но вот, наконец, благодичинный берет из моих рук венец... молодые целуются... Гости волнуются, расстраиваются правильные ряды, слышатся поздравления, поцелуи, аханья. Урбенин, сияющий и улыбающийся берет под руку молодую, и мы выходим на воздух...

Если кто из бывших со мною в церкви найдет это описание неполным и не совсем точным, тот пусть припишет эти промахи головной боли и названному душевному настроению, мешавшим мне наблюдать и подмечать... Конечно, знай я тогда, что мне придется писать роман, я не глядел бы в землю, как в описываемое утро, и не обратил бы внимания на головную боль!

Судьба позволяет себе иногда едкие, ядовитые шутки! Не успели молодые выйти из церкви, как навстречу им неся нежелательный и неожиданный сюрприз... Когда свадебный кортеж, пестрея на солнце сотнями цветов и оттенков, двигался от церкви к графскому дому, Оленька вдруг сделала шаг назад, остановилась и так дернула своего мужа за локоть, что тот покачнулся...

— Его выпустили! — сказала она вслух, поглядев на меня с ужасом.

Бедняжка! Навстречу кортежу, по аллее бежал ее сумасшедший отец, лесничий Скворцов. Размахивая руками, спотыкаясь и безумно поводя глазами, он представлял из себя достаточно непривлекательную картину. Всё бы это еще, пожалуй, было прилично, если бы он не был в своем ситцевом халате и в туфлях-шлепанцах, ветхость которых плохо вязалась с роскошью венчального наряда его дочери. Лицо его было заспано, волосы развевались от ветра, ночная сорочка была расстегнута.

— Оленька! — залепетал он, поровнявшись с ними. — Зачем ты ушла?

Оленька покраснела и искоса поглядела на улыбающихся дам. Бедняжка сгорела от стыда...

— Митька дверей не запер, — продолжал лесничий, обращаясь к нам. — Трудно ли ворам забраться?.. Из кухни самовар унесли в прошлом году, так вот она хочет, чтоб и теперь нас обокрали!

— Не знаю, кто его выпустил! — шепнул мне Урбенин. — Я велел его запереть... Голубчик, Сергей Петрович, будьте милостивы, выведите нас как-нибудь из неловкого положения! Как-нибудь!

— Я знаю, кто украл у вас самовар, — обратился я к лесничему. — Пойдемте, я вам укажу.

И, обняв Скворцова за талию, я повел его к церкви... Заведя его в ограду, я поговорил с ним, и когда, по моему расчету, свадебный кортеж был уже в доме, — оставил его, не указав ему места, где находится украденный у него самовар.

Как ни неожиданна и ни экстраординарна была встреча с сумасшедшим, но, тем не менее, скоро она была забыта... Новый сюрприз, который был поднесен молодым их судьбою, был еще диковиннее...

Через час все мы сидели за длинными столами и обедали.

Кто привык к паутине, плесени и цыганскому гиканью графских апартаментов, тому странно было глядеть на эту будничную, прозаическую толпу, нарушавшую своей обыденной болтовней тишину ветхих, оставленных покоев. Эта пестрая, шумная толпа походила на стаю Скворцов, мимолетом опустившуюся отдохнуть на заброшенное кладбище, или — да простит мне это сравнение благородная птица! — на стаю аистов, опустившихся в одни из сумерек перелетных дней на развалины заброшенного замка.

Я сидел и ненавидел эту толпу, с суетным любопытством рассматривавшую гниющее богатство графов Карнеевых. Мозаиковые стены, скульптурные потолки, роскошные персидские ковры и мебель в стиле рококо вызывали восторг и изумление. Усатая физиономия графа, не переставая, осклаблялась самодовольной улыбкой... Восторженную лесть своих гостей принимал он, как нечто заслуженное, хотя в сущности он нимало не был повинен в богатстве и роскоши своего брошенного им гнезда, а, напротив, заслуживал самых горьких упреков и даже презрения за свой варварски тупой индифферентизм по отношению к добру, собранному его отцом и дедами, собранному не днями, а десятками лет! Только душевно слепой и нищий духом на каждой посеребренной мраморной плите, в каждой картине, в каждом темном уголке графского сада не видел пота, слез и мозолей людей, дети которых ютились теперь в избенках графской деревеньки... И из большого числа людей, сидевших за свадебным столом, людей богатых, независимых, которым ничто не мешало говорить даже самую резкую правду, не нашлось ни одного человека, который сказал бы графу, что его самодовольная улыбка глупа и неуместна... Каждый находил нужным льстиво улыбаться и курить грошовый фимиам! Если это была «простая» вежливость (у нас любят многое сваливать на вежливость и приличия), то я этим франтам предпочел бы невеж, едящих руками, берущих хлеб с чужого куверта и сморкающихся посредством двух пальцев...

Урбенин улыбался, но на это у него были свои причины. Он улыбался

и льстиво, и почтительно, и детски счастливо. Его широкая улыбка была суррогатом собачьего счастья. Преданную и любящую собаку приласкали, осчастливили, и теперь она в знак благодарности весело и искренно виляет хвостом...

Он, как Рислер-старший в романе Альфонса Доде, сияя и потирая от удовольствия руки, глядел на свою молодую жену и от избытка чувств не мог удержаться, чтобы не задавать вопрос за вопросом:

«Кто б мог подумать, что эта молодая красавица полюбит такого старика, как я? И неужели она не могла найти кого-нибудь помоложе и изящнее? Непостижимы эти женские сердца!»

И он даже имел храбрость обратиться ко мне и сболтнуть:

— Да и век же настал как посмотришь! Хе-хе! Старик из-под носа молодежи утаскивает этакую фею! Чего же смотрели вы? Хе-хе... Нет, нынче уже не та молодежь!

Не зная, куда деваться от избытка чувств благодарности, распиравших его широкую грудь, он то и дело поднимался, протягивал к бокалу графа свой бокал и говорил дрожащим от волнения голосом:

— Чувства мои к вам известны, ваше сиятельство... В сегодняшний же день вы столько сделали для меня, что моя любовь к вам является просто прахом... Чем я заслужил такое внимание вашего сиятельства, что вы приняли такое участие в моей радости? Так только графы да банкиры празднуют свои свадьбы! Эта роскошь, собрание именитых гостей... Ах, да что говорить!.. Верьте, ваше сиятельство, что моя память не оставит вас, как не оставит она этот лучший и счастливейший из дней моей жизни...

И так далее... Оленьке, по-видимому, была не по душе витиеватая почтительность мужа... Она заметно тяготилась его речами, вызывавшими улыбки на лицах обедавших, и даже, кажется, стыдилась их... Несмотря на выпитый бокал шампанского, она была невесела и угрюма по-прежнему... Та же бледность, что и в церкви, тот же испуг в глазах... Она молчала, лениво отвечала на все вопросы, насильно улыбалась островам графа и едва касалась дорогих кушаний... Насколько пьянеющий Урбенин считал себя счастливейшим из смертных, настолько несчастно было ее хорошенькое личико. Мне было просто жаль глядеть на него, и я, чтобы не видеть этого личика, старался глядеть себе в тарелку.

Чем нужно было объяснить эту ее печаль? Не начало ли раскаяние грызть бедную девушку? Или, быть может, ее тщеславие ожидало еще большей помпы?

Подняв во время второго блюда на нее глаза, я был поражен до боли в сердце. Бедная девочка, отвечая на какой-то пустой вопрос графа, делала

усиленные глотательные движения: в ее горле накопились рыдания. Она не отрывала платка от своего рта и робко, как испуганный зверек, поглядывала на нас: не замечаем ли мы, что ей хочется плакать?

— Чего вы такая кислая сегодня? — спросил граф. — Эге! Петр Егорыч, это вы виноваты! Извольте-ка развеселить жену! Господа, я требую поцелуя. Ха-ха!.. Не для себя поцелуя, конечно, а того... чтобы они поцеловались! Горько!

— Горько! — подхватил Калинин.

Урбенин, улыбаясь во всё свое красное лицо, поднялся и замигал глазами. Оленька, понуждаемая возгласами и гиканьем гостей, слегка привстала и подставила Урбенину свои неподвижные, безжизненные губы... Тот поцеловал... Оленька стиснула свои губы, точно боясь, чтоб их не поцеловал в другой раз, и взглянула на меня... Вероятно, мой взгляд был нехорош. Уловив его, она вдруг покраснела, потянулась за платком и стала сморкаться, желая хоть чем-нибудь скрыть свое страшное замешательство... Мне пришло в голову, что она стыдится передо мной, стыдится за этот поцелуй, за брак...

«Какое мне дело до тебя?» — думал я, но сам в то же время не спускал с нее глаз, стараясь уловить причину ее замешательства...

Бедняжка не вынесла моего взгляда. Правда, краска стыда скоро сошла с ее лица, но зато из глаз выжались слезы, настоящие слезы, каких я никогда ранее не видывал на ее лице... Прижав платок к лицу, она поднялась и выбежала из столовой...

— У Ольги Николаевны голова болит, — поспешил я объяснить ее уход. — Она мне еще утром жаловалась...

— Оставь, брат! — сострил граф. — Головная боль тут ни при чем... Поцелуй всё наделал, сконфузилась. Объявляю, господа, жениху строгий выговор! Он не приучил свою невесту к поцелуям! Ха-ха!

Гости, восхищенные графской остротой, захохотали... Но не следовало хохотать...

Прошло пять, десять минут, и молодая не возвращалась... Наступило молчание... Даже граф перестал острить... Отсутствие Оленьки было тем более заметно, что она ушла внезапно, не сказав ни слова... Не говоря уж об этикете, который был оскорблен тут прежде всего, Оленька вышла из-за стола тотчас же после поцелуя, словно она рассердилась, что ее заставили целоваться с мужем... Нельзя было допустить, что она ушла оттого, что сконфузилась... Сконфузиться можно на минуту, на две, но не на целую вечность, какою показались нам первые десять минут ее отсутствия... Сколько нехороших мыслей промелькнуло в хмельных головах мужчин и



сколько сплетен было уже наготове у милых дам! Невеста встала из-за стола и ушла — какое эффектное и сценическое место для «великосветского» уездного романа!

Урбенин стал беспокойно поглядывать по сторонам.

— Нервы... — бормотал он. — Или, может, развязалось что-нибудь из туалета... Кто их знает, этих женщин! Сейчас придет... Сию минуту.

Но когда прошло еще десять минут и она не появлялась, он посмотрел на меня такими несчастными, умоляющими глазами, что мне стало жаль его...

«Ничего, если я пойду поищу ее? — говорили его глаза. — Не поможете ли вы мне, голубчик, выйти из этого ужасного положения? Вы здесь самый умный, смелый и находчивый человек, помогите же мне!»

Я внял мольбе его несчастных глаз и решился помочь ему. Как я помог ему, читатель увидит далее... Скажу только, что крыловский медведь, оказавший услугу пустынною, в моих глазах теряет всё свое звериное величие, бледнеет и обращается в невинную инфузорию, когда я вспоминаю себя в роли «услужливого дурака»... Сходство между мной и медведем заключается только в том, что оба мы шли на помощь искренно, не предвидя дурных последствий нашей услуги, разница же между нами громадная... Мой камень, которым я хватил по лбу Урбенина, во много раз увесистее...

— Где Ольга Николаевна? — спросил я лакея, подававшего мне салат.

— В сад вышли, — отвечал он.

— Это ни на что непохоже, mesdames! — сказал я шутливым тоном, обращаясь к дамам. — Невеста ушла, и мое вино прокисло!.. Я должен пойти ее отыскать и привести ее сюда, хотя бы у нее болели все зубы! Шафер — должностное лицо, и он идет показать свою власть!

Я встал и при громких аплодисментах моего друга графа вышел из столовой в сад. В мою разгоряченную вином голову ударили прямые, жгучие лучи полуденного солнца. В лицо пахнуло зноем и духотой. Я наудачу пошел по одной из боковых аллей и, насвистывая какой-то мотив, дал «полный пар» своим следовательским способностям в роли простой ищейки. Я осмотрел все кустики, беседки, пещеры, и когда уже меня начало помучивать раскаяние, что я пошел вправо, а не влево, я вдруг услышал странные звуки. Кто-то смеялся или плакал. Звуки исходили из одной пещеры, которую я хотел осмотреть последней. Быстро войдя в нее, я, охваченный сыростью, запахом плесени, грибов и известки, увидел ту, которую искал.

Она стояла, облокотившись о деревянную колонну, покрытую черным

мохом, и, подняв на меня глаза, полные ужаса и отчаяния, рвала на себе волосы. Из ее глаз лились слезы, как из губки, когда ее жмут.

— Что я наделала? Что наделала! — бормотала она.

— Да, Оля, что вы наделали! — сказал я, ставши перед ней и скрестив руки.

— Зачем я вышла за него замуж? Где у меня были глаза? Где был мой ум?

— Да, Оля... Трудно объяснить этот ваш шаг... Объяснять его неопытностью — слишком снисходительно, объяснять испорченностью — не хочется...

— Я сегодня только поняла... сегодня! Отчего я не поняла этого вчера? Теперь всё безвозвратно, всё потеряно! Всё, всё! Я могла бы выйти за человека, которого я люблю, который меня любит!

— За кого же это, Оля? — спросил я.

— За вас! — сказала она, посмотрев на меня прямо, открыто... — Но я поспешила! Я была глупа! Вы умны, благородны, молоды... Вы богаты... Вы казались мне недоступны!

— Ну, довольно, Оля, — сказал я, беря ее за руку. — Утрем свои глазки и пойдем... Там ждут... Ну, будет плакать, будет... — Я поцеловал ее руку. — Будет, девочка! Ты сделала глупость и теперь расплачивайся за нее... Ты виновата... Ну, будет, успокойся...

— Ведь ты меня любишь? Да? Ты такой большой, красивый! Ведь любишь?

— Пора идти, душа моя... — сказал я, замечая, к своему великому ужасу, что я целую ее в лоб, беру ее за талию, что она ожигает меня своим горячим дыханием и повисает на моей шее...

— Будет тебе! — бормочу я. — Довольно!..

Когда минут через пять я вынес ее на руках из пещеры и, замученную новыми впечатлениями, поставил на землю, почти у самого порога я увидал Пшехоцкого... Он стоял, ехидно глядел на меня и тихо аплодировал... Я смерил его взглядом и, взяв Ольгу под руку, направился к дому.

— Сегодня же вас здесь не будет! — сказал я, оглянувшись, Пшехоцкому. — Ваше шпионство не пройдет вам даром!

Поцелуи мои, вероятно, были горячи, потому что лицо Ольги горело, как в огне. На нем не было и следа только что пролитых слез...

— Теперь мне, как говорится, море по колено! — бормотала она, идя со мной к дому и судорожно сжимая мой локоть. — Утром я не знала, куда деваться от ужаса, а сейчас... сейчас, мой хороший великан, я не знаю, куда

деваться от счастья! Там сидит и ждет меня муж... Ха-ха! Мне-то что? Хотя бы он даже был крокодил, страшная змея... ничего не боюсь! Я тебя люблю и знать ничего не хочу.

Я поглядел на ее пылавшее счастьем лицо, на глаза, полные счастливой, удовлетворенной любви, и сердце мое сжалось от страха за будущее этого хорошенького, счастливого существа: любовь ее ко мне была только лишним толчком в пропасть... Чем кончит эта смеющаяся, не думающая о будущем женщина?.. Сердце мое сжалось и перевернулось от чувства, которое нельзя назвать ни жалостью, ни состраданием, потому что оно было сильнее этих чувств. Я остановился и взял Ольгу за плечо... Никогда в другое время я не видел ничего прекраснее, грациознее и в то же время жалче... Некогда было рассуждать, рассчитывать, думать, и я, охваченный чувством, сказал:

— Сию минуту едем ко мне, Ольга! Сейчас же!

— Как? Что ты сказал? — спросила она, не поняв моего несколько торжественного тона...

— Едем немедленно ко мне!

Ольга улыбнулась и показала мне на дом...

— Ну так что же? — сказал я. — Сегодня ли я возьму тебя или завтра — не всё ли равно? Но чем раньше, тем лучше... Идем!

— Но... это как-то странно...

— Ты, девочка, боишься скандала?.. Да, скандал будет необыкновенный, грандиозный, но лучше тысяча скандалов, чем оставаться тебе здесь! Я тебя здесь не оставлю! Я не могу тебя здесь оставить! Понимаешь, Ольга? Оставь твоё малодушие, твою женскую логику и слушайся! Слушайся, если не желаешь своей гибели!

Глаза Ольги говорили, что она меня не понимала... А время между тем не ждало, шло своим чередом, и стоять нам в аллее в то время, когда нас там ждали, было некогда. Нужно было решать... Я прижал к себе «девушку в красном», которая фактически была теперь моей женой, и в эти минуты мне казалось, что я действительно люблю ее, люблю любовью мужа, что она моя и судьба ее лежит на моей совести... Я увидел, что я связан с этим созданием навеки, бесповоротно.

— Послушай, моя дорогая, мое сокровище! — сказал я. — Шаг этот смел... Он рассорит нас с близкими людьми, вызовет на наши головы тысячи попреков, слезных жалоб. Он, быть может, даже испортит мою карьеру, причинит мне тысячи непроходимых неудобств, но, милая моя, решено! Ты будешь моей женой... Лучшей жены мне не нужно, да и бог с ними, с этими женщинами! Я сделаю тебя счастливой, буду хранить тебя,

как зеницу ока, пока жив буду, я воспитаю тебя, сделаю из тебя женщину! Обещаю тебе это, и вот тебе моя честная рука!

Я говорил с искренним увлечением, с чувством, как *jeune premier*<sup>[8]</sup>, исполняющий самое патетическое место в своей роли... Говорил я прекрасно, и недаром похлопала мне крыльями пролетевшая над нашими головами орлица. А моя Оля взяла мою протянутую руку, подержала ее в своих маленьких руках и с нежностью поцеловала. Но это не было знаком согласия... На глупеньком личике неопытной, никогда ранее не слышавшей речей женщины выражалось недоумение... Она всё еще продолжала не понимать меня.

— Ты говоришь, идти к тебе... — проговорила она, думая... — Я тебя не совсем понимаю... Разве ты не знаешь, что скажет он?

— Да какое тебе дело до того, что он скажет?

— Как какое? Нет, Сережа, и не говори лучше... Оставь это, пожалуйста... Ты меня любишь, и больше мне ничего не нужно. С твоей любовью хоть в аду жить...

— Но как же ты будешь, дурочка?

— Я буду жить здесь, а ты... будешь приезжать каждый день... Я буду выходить тебя встречать.

— Но я без содрогания не могу представить себе этой твоей жизни!.. Ночью — он, днем — я... Нет, это невозможно! Оля, я так люблю тебя в настоящую минуту, что... я даже безумно ревнив... Я даже и не подозревал за собой способности на такие чувства...

Но какая неосторожность! Я держал ее за талию, а она нежно гладила мою руку в то время, когда во всякую минуту можно было ждать, что кто-нибудь пройдет по аллее и увидит нас.

— Идем, — сказал я, отдергивая свои руки. — Оденься и едем!

— Но как ты всё это скоро... — промычала она плаксивым голосом. — Спешешь, словно на пожар... И бог знает что выдумал! Убежать сейчас же после венца! Что люди скажут!

И Оленька пожалала плечами. На лице ее было столько недоумения, удивления и непонимания, что я махнул рукой и отложил решение ее «жизненного вопроса» до следующего раза. Да и некогда уже было продолжать нашу беседу: мы всходили по каменным ступеням террасы и слышали людской говор. Перед дверью в столовую Оля поправила свою прическу, оглядела платье и вошла. На лице ее не заметно было смущения. Вошла она, сверх ожидания моего, очень храбро.

— Возвращаю вам, господа, беглянку, — сказал я, входя и садясь на свое место. — Насилу нашел... Даже утомился... Выхожу в сад, смотрю, а

она изволит прохаживаться по аллее... «Зачем вы здесь?» — спрашиваю... — «Да так, говорит, душно!..»

Оля поглядела на меня, на гостей, на мужа... и захохотала. Ей стало вдруг смешно, весело. На лице ее я прочел желание поделиться со всей этой обедающей толпой своим внезапно набежавшим на нее счастьем, и, не имея возможности передать его на словах, она вылила его в своем смехе.

— Какая я смешная! — сказала она. — Хохочу и сама не знаю, чего хохочу... Граф, смейтесь!

— Горько! — крикнул Калинин.

Урбенин кашлянул и поглядел вопросительно на Олю.

— Ну? — спросила она, на секунду нахмутив брови.

— Кричат-с — «горько», — ухмыльнулся Урбенин, поднимаясь и вытирая салфеткой губы.

Ольга поднялась и дала ему поцеловать себя в неподвижные губы... Поцелуй этот был холоден, но еще более он поджег костер, тлевший в моей груди и готовый каждую минуту вспыхнуть пламенем... Я отвернулся и, стиснув губы, стал ждать конца обеда... Конец этот наступил, к счастью, скоро, иначе бы я не выдержал...

— Поди сюда! — сказал я грубо, подходя после обеда к графу.

Граф с удивлением поглядел на меня и последовал за мной в пустую комнату, куда я повел его...

— Что тебе нужно, дружочек? — спросил он, расстегивая жилетку и отрывнув...

— Выбирай кого-нибудь из двух... — сказал я, едва держась на ногах от охватившего меня гнева. — Или я, или Пшехоцкий! Если ты не обещаешь мне, что через час этот подлец оставит твою деревню, я к тебе более ни ногой!.. Даю тебе на ответ полминуты!

Граф выронил изо рта сигару и расставил руки...

— Что с тобой, Сережа? — спросил он, делая большие глаза. — На тебе лица нет!

— Без лишних слов, пожалуйста! Я не выношу шпиона, негодяя, подлеца и друга твоего Пшехоцкого и во имя наших хороших с тобой отношений требую, чтоб его не было здесь сейчас же!

— Но что он тебе сделал? — встревожился граф. — За что ты на него так нападаешь?

— Я тебя спрашиваю: я или он?

— Но, голубчик, ты ставишь меня в ужасно щекотливое положение... Постой, у тебя на фраке перышко... Ты требуешь от меня невозможного!

— Прощай! — сказал я. — Я с тобой больше незнаком.

И, круто повернувшись, я пошел в переднюю, оделся и быстро вышел. Проходя через сад в людскую кухню, где я хотел приказать запрячь мне лошадь, я был остановлен встречей... Навстречу мне с маленькой чашечкой кофе шла Надя Калинина. Она тоже была на свадьбе Урбенина, но какой-то неясный страх заставлял меня избегать с ней разговора, и за весь день я ни разу не подошел к ней и не сказал с нею ни одного слова...

— Сергей Петрович! — сказала она неестественно низким голосом, когда я прошел мимо нее и слегка приподнял шляпу. — Пойдите!

— Что прикажете? — спросил я, подходя к ней.

— Приказывать мне нечего... да вы и не лакей, — сказала она, глядя мне в упор в лицо и страшно бледнея. — Вы куда-то спешите, но если вам не к спеху, можно задержать вас на минуту?

— Конечно... Я не знаю даже, зачем вы спрашиваете...

— В таком случае сядемте... Вы, Сергей Петрович, — продолжала она, когда мы сели, — сегодня вы всё время старались не замечать меня, обходили, словно боялись встретиться, а как нарочно сегодня-то я и порешила поговорить с вами... Я горда и самолюбива... не умею навязываться встречей... но раз в жизни можно пожертвовать гордостью.

— О чем вы это?

— Я порешила сегодня спросить вас... Вопрос унижительный, тяжелый для меня... не знаю, как и перенесу... Вы отвечайте, не глядя на меня... Неужели вам не жаль меня, Сергей Петрович?

Надя поглядела на меня и слабо покачала головой. Лицо ее еще более побледнело, верхняя губа задрожала и покривилась...

— Сергей Петрович! Мне всё кажется, что вас... отделило от меня какое-то недоразумение, каприз... Мне кажется, что выскажись мы — и всё пойдет по-старому... Если бы мне так не казалось, то у меня не хватило бы решимости задать вам вопрос, который вы сейчас услышите... Я, Сергей Петрович, несчастна... Вы должны это видеть... Жизнь моя не в жизнь... Вся высохла... А главное — какая-то неопределенность: не знаешь, надеяться или нет... Поведение ваше по отношению ко мне так непонятно, что невозможно вывести никакого определенного заключения... Скажите мне, и я буду знать, что мне делать... Тогда моя жизнь получит хотя какое-нибудь направление... Я тогда решусь на что-нибудь.

— Вы хотите, Надежда Николаевна, спросить меня о чем-то, — сказал я, готовя мысленно ответ на вопрос, который предчувствовал.

— Да, я хочу спросить... Вопрос унижительный... Если кто подслушает, то подумает, что я навязываюсь, словно... пушкинская Татьяна... Но это вымученный вопрос...

Действительно, вопрос был вымученный. Когда Надя повернула ко мне лицо, чтобы задать этот вопрос, я испугался: Надя дрожала, судорожно сжимала свои пальцы и с тоскливой медленностью выжимала из себя роковое слово. Ее бледность была страшна.

— Могу я надеяться? — прошептала она наконец. — Вы не бойтесь говорить прямо... Какой бы ни был ответ, но он лучше неопределенности. Так как же? Могу я надеяться?

Она ждала ответа, а между тем настроение моего духа было таково, что я не был способен на разумный ответ. Пьяный, взволнованный случаем в пещере, взбешенный шпионством Пшехоцкого и нерешительностью Ольги, переживший глупую беседу с графом, я едва слушал Надю.

— Могу я надеяться? — повторила она. — Отвечайте же!

— Ах, мне не до ответов, Надежда Николаевна! — махнул я рукой, поднимаясь. — Я неспособен давать теперь какие бы то ни было ответы. Простите меня, но я вас не слышал и не понял. Я глуп и взбешен... Напрасно только вы и беспокоились, право.

Я еще раз махнул рукой и оставил Надю. Только впоследствии, придя в себя, я понял, как глуп и жесток я был, не дав девушке ответа на ее простой, незамысловатый вопрос... Отчего я не ответил?

Теперь, когда я могу глядеть беспристрастно на прошлое, я не объясняю свою жестокость состоянием души... Мне сдается, что, не давая ей ответа, я кокетничал, ломался. Трудно понять человеческую душу, но душу свою собственную понять еще трудней. Если действительно я ломался, то да простит мне бог! Хотя, впрочем, издевательство над чужими страданиями не должно быть прощаемо.

Три дня ходил я из угла в угол, как волк в клетке, и всеми силами своей недюжинной воли старался не пускать себя из дому. Я не касался груды бумаг, лежавших на столе и терпеливо ожидавших моего внимания, никого не принимал, бранился с Поликарпом, раздражался... Я не пускал себя в графскую усадьбу, и это упорство стоило мне сильной нервной работы. Я тысячу раз брался за шляпу и столько же раз бросал ее... То я решался пренебречь всем на свете и ехать к Ольге во что бы то ни стало, то оказывал себя холодом решения сидеть дома...

Рассудок мой был против поездки в графскую усадьбу. Раз я поклялся графу не бывать у него, мог ли я жертвовать своим самолюбием, гордостью? Что бы подумал этот усатый фат, если бы я, после того нашего глупого разговора, отправился к нему, как ни в чем не бывало? Не значило бы это сознаться в своей неправоте?..

Далее, как честный человек, я должен был бы порвать всякие

сношения с Ольгой. Наша дальнейшая связь не могла бы ей дать ничего, кроме гибели. Выйдя замуж за Урбенина, она сделала ошибку, сойдясь же со мной, она ошиблась в другой раз. Живя с мужем-стариком и имея в то же время тайком от него любовника, не походила бы она на развратную куклу? Не говоря уже о том, как мерзка в принципе подобная жизнь, нужно было подумать и о последствиях.

Какой я трус! Я боялся и последствий, и настоящего, и прошлого... Обыкновенный человек посмеется над моими рассуждениями. Он не ходил бы из угла в угол, не хватал бы себя за голову и не строил бы всевозможных планов, а предоставил бы всё жизни, которая мелет в муку даже жёрновы. Жизнь переварила бы всё, не спрашивая ни его помощи, ни позволения... Но я мнителен до трусости... Ходил я из угла в угол, болел от сострадания к Ольге и в то же время ужасался мысли, что она поймет мое предложение, которое сделал я ей в минуты увлечения, и явится ко мне в дом, как обещал я ей, навсегда! Что было бы, если бы она послушалась меня и пошла за мной? Как долго продолжалось бы это «навсегда», и что дала бы бедной Ольге жизнь со мною? Я не дал бы ей семьи, а стало быть, не дал бы и счастья. Нет, не следовало мне ехать к Ольге!

А между тем душа моя неистово рвалась к ней... Я тосковал, как впервые влюбившийся мальчишка, которого не пускают на rendez-vous<sup>[9]</sup>. Искушенный происшествием в пещере, я жаждал нового свидания, и из головы моей ни на минуту не выходил вызывающий образ Ольги, которая, как я знал, тоже ждала меня и изнывала от тоски...

Граф слал письмо за письмом, одно другого плачевнее и унижительнее... Он умолял меня «забыть всё» и приехать, извинялся за Пшехоцкого, просил простить этого «доброего, простого, но несколько ограниченного человека», удивлялся, что я из-за пустяков решаюсь прервать старинные дружеские отношения. В одном из последних писем он обещался сам приехать и, если я пожелаю, привезти с собою Пшехоцкого, который попросит у меня извинения, «хотя и не чувствует за собой никакой вины». Я читал письма и в ответ на них просил каждого посланного оставить меня в покое. Умел я ломаться!

И в самый разгар моей нервной работы, когда я, стоя у окна, решал уже уехать куда-нибудь, помимо графской усадьбы, терзал себя рассуждениями, самопопреками и представлениями картин любви, которые ожидали меня у Ольги, моя дверь тихо отворилась, сзади меня послышались легкие шаги, и скоро шею мою обвивали две маленькие, хорошенькие руки...

— Это ты, Ольга? — спросил я, оглядываясь.



Я узнал ее по горячему дыханию, по манере, с которой она повисла на моей шее, и даже по запаху. Припав своей головкой к моей щеке, она казалась мне необыкновенно счастливой... От счастья она не могла выговорить ни слова... Я прижал ее к груди, и — куда девались тоска и вопросы, мучившие меня целых три дня! Я от удовольствия захохотал и запрыгал, как школьник.

Ольга была в голубом шёлковом платье, которое очень шло к ее бледному цвету лица и роскошным льняным волосам. Платье это было модно и ужасно дорого. Урбенину стоило оно, вероятно, четверти годового жалованья...

— Какая ты хорошенькая сегодня!.. — сказал я, поднимая Ольгу на руки и целуя ее в шею. — Ну, что? Как? Здорова?

— Как, однако, у тебя здесь нехорошо! — проговорила она, окидывая взглядом мой кабинет. — Богатый человек, жалованье большое получаешь, а как... просто живешь!

— Не всем же, душа моя, жить так роскошно, как граф, — сказал я. — Но оставим в покое мое богатство. Какой добрый гений занес тебя в мою берлогу?

— Пойди, Сережа, ты помнешь мне мое платье... Опустить меня наземь... К тебе я, голубчик, на минутку! Дома я всем сказала, что поеду к Акатыхе, графской прачке, что тут живет недалеко, за три дома от тебя... Ты меня отпусти, голубчик, а то неловко... Почему ты не приезжал так долго?

Я ответил что-то, посадил ее против себя и занялся созерцанием ее красоты... Минуту мы глядели друг на друга и молчали...

— Ты очень хорошенькая, Оля! — вздохнул я. — Даже жаль и обидно, что ты такая хорошенькая!

— Почему же жаль?

— Досталась чёрт знает кому.

— Но чего же тебе еще! Ведь я твоя! Пришла вот... Послушай, Сережа... Ты мне правду скажешь, если тебя спрошу?

— Конечно, правду.

— Ты женился бы на мне, если бы я не вышла за Петра Егорыча?

«Вероятно, нет», — хотелось мне сказать, но к чему было ковырять и без того уж больную ранку, мучившую сердце бедной Оли?

— Конечно, — сказал я тоном человека, говорящего правду.

Оля вздохнула и потупилась...

— Как я ошиблась, как ошиблась! И что хуже всего, нельзя поправить! Развестись ведь с ним нельзя?

— Нельзя...

— И к чему я спешила, не понимаю! Мы, девушки, так глупы и ветрены... Бить нас некому! Впрочем, не воротишь, и рассуждать тут нечего... Ни рассуждения, ни слезы не помогут. Я, Сережа, сегодня всю ночь плакала! Он тут... около лежит, а я про тебя думаю... спать не могу... Хотела даже бежать ночью, хоть в лес к отцу... Лучше жить у сумасшедшего отца, чем с этим... как его...

— Рассуждения, Оля, не помогут... Нужно было тогда рассуждать, когда ты ехала со мной из Тенева и радовалась, что выходишь за богатого человека... Теперь же поздно упражняться в красноречии...

— Поздно... но так тому и быть! — сказала Оля, решительно махнув рукой. — Лишь бы только хуже не было, а то еще можно жить... Прощай! Пора уж идти...

— Нет, не прощай!

Я привлек к себе Олю и стал осыпать ее лицо поцелуями, словно стараясь вознаградить себя за утерянные три дня. Она жалась ко мне, как озябший барашек, грела мое лицо своим горячим дыханием... Наступила тишина...

— Муж убил свою жену! — гаркнул мой попугай...

Оля вздрогнула, высвободилась из моих объятий и вопросительно поглядела на меня...

— Это попугай, душа моя... — сказал я. — Успокойся...

— Муж убил свою жену! — повторил Иван Демьяныч.

Оля поднялась, молча надела шляпу и подала мне руку... На лице ее был написан испуг...

— А что, если Урбенин узнает? — спросила она, глядя на меня большими глазами. — Ведь он убьет меня!

— Ну, полно... — засмеялся я. — Хорош был бы я, если бы позволил ему убить тебя! Да едва ли он способен на такое необыкновенное дело, как убийство... Ты уходишь? Ну, прощай же, дитя мое... Жду... Завтра буду в лесу около домика, где ты жила... Встретимся...

Проводивши Ольгу и воротясь в кабинет, я встретил там Поликарпа. Он стоял посреди комнаты, сурово глядел на меня и презрительно покачивал головой...

— Чтобы в другой раз у меня этого не было, Сергей Петрович! — сказал он тоном строгого родителя. — Я этого не желаю...

— Чего это?

— Того самого... Вы думаете, я не видел? Всё видел... Чтоб она не смела сюда ходить! Нечего тут шуры-муры заводить! На это другие места

есть...

Я был в великолепнейшем настроении духа, а потому шпионство и менторский тон Поликарпа не рассердили меня. Я засмеялся и услав его в кухню.

Не успел я еще опомниться после посещения Ольги, как ко мне пожаловал новый гость. К моей квартире подъехала с шумом карета, и Поликарп, плюя по сторонам и бормоча ругательства, доложил мне о приезде «тово... энтого, чтоб его...», т. е. графа, которого он ненавидел всеми силами своей души. Граф вошел, слезливо поглядел на меня и покачал головой...

— Ты отворачиваешься... Не хочешь говорить...

— Я не отворачиваюсь, — сказал я.

— Я так любил тебя, Сережа, а ты... из-за пустяка! За что ты меня оскорбляешь? За что?

Граф сел, вздохнул и покачал головой...

— Ну, будет тебе дурака ломать! — сказал я. — Ладно!

Сильно было мое влияние над этим слабым, тщедушным человечешкой, так же сильно, как и презрение к нему... Мой презрительный тон не оскорбил его, а напротив... Услышав мое «ладно!», он вскочил и принялся обнимать меня.

— Я привез его с собой... Он сидит в карете... хочешь, чтоб он перед тобой извинился?

— А ты знаешь его вину?

— Нет...

— И отлично. Пусть не извиняется, но только предупреди его, что если случится впредь еще раз что-либо подобное, то я уж кипятиться не стану, а приму меры.

— Стало быть, мир, Сережа? И отлично! Так бы и давно, а то чёрт знает из-за чего поссорились! Словно институтки! Ах, да, голубчик! Нет ли у тебя... полрюмки водки? Ужасно пересохло в горле!

Я приказал подать водки. Граф выпил две рюмки, развалился на диване и стал болтать.

— Сейчас я, брат, встретился с Олей... Чудо женщина! Надо тебе сказать, что я начинаю ненавидеть Урбенина... Это значит, что Оленька начинает мне нравиться... Чертовски хорошенькая! Я думаю приволокнуться за ней.

— Не следует трогать замужних! — вздохнул я.

— Ну, у старика... У Петра-то Егорыча не грех его супругу подтибрить... Она ему не пара... Он, как собака: и сам не трескает и

другим не дает... Сегодня же начну свои приступы и начну систематически... Такая душонка... гм... просто шик, братец! Пальчики оближешь!

Граф выпил третью рюмку и продолжал:

— Знаешь, кто мне еще нравится из здешних?... Наденька, дочка этого дурака Калинина... Жгучая брюнетка, бледная, знаешь, с такими глазами... Тоже нужно будет удочку закинуть... На Троицу делаю вечер... музыкально-вокально-литературный... нарочно, чтоб ее позвать... А здесь, брат, как оказывается, ничего себе, весело! И общество, и женщины... и... Можно у тебя здесь уснуть... на минутку?..

— Можно... Но как же Пшехоцкий с каретой?

— Пусть ждет, чёрт с ним!.. Я сам, брат, его не люблю.

Граф приподнялся на локоть и проговорил таинственно:

— Держу только по необходимости... по нужде... Ну, да чёрт с ним!

Локоть графа подвернулся, и голова упала на подушку. Через минуту послышался храп.

Вечером, когда граф уехал, у меня был третий гость: доктор Павел Иванович. Он приезжал известить меня о болезни Надежды Николаевны и о том, что она... окончательно отказала ему в своей руке. Бедняга был печален и походил на мокрую курицу.

Прошел поэтический май...

Отцвели сирень и тюльпаны, а с ними суждено было отцвести и восторгам любви, которая, несмотря на свою преступность и мучительность, все-таки изредка доставляла нам сладкие минуты, не изгладимые из памяти. А бывают минуты, за которые можно отдать месяцы и годы!

В один из июньских вечеров, когда солнце уже зашло, но широкий след его — багрово-золотистая полоса еще красила далекий запад и пророчила на завтра тихий и ясный день, я подъехал на Зорьке к флигелю, в котором жил Урбенин. В этот вечер у графа предполагался «музыкальный» вечер. Гости уже начали съезжаться, но графа не было дома: он поехал кататься и обещал скоро вернуться.

Немного погодя я, держа свою лошадь за повод, стоял у крылечка и беседовал с дочкой Урбенина, Сашей. Сам Урбенин сидел на ступеньке и, подперев кулаками голову, всматривался в даль, которую видно было в ворота. Он был угрюм, неохотно отвечал на мои вопросы. Я оставил его в покое и занялся Сашей.

— Где твоя новая мама? — спросил я ее.

— Поехала с графом кататься. Она каждый день с ним ездит.

— Каждый день, — пробормотал Урбенин, вздохнув.

Многое слышалось в этом вздохе. Слышалось в нем то же самое, что волновало и мою душу, что старался я объяснить себе, но не мог объяснить и терялся в догадках.

Каждый день Ольга ездила с графом кататься верхом. Но это пустяки. Ольга не могла полюбить графа, и ревность Урбенина была неосновательна. Ревновать должны были мы не к графу, а к чему-то другому, чего я не мог понять так долго. Это «что-то другое» стало между мной и Ольгой целой стеной. Она продолжала любить меня, но после того посещения, которое было описано в предыдущей главе, она была у меня еще не более двух раз, а встречаясь со мной вне моей квартиры, как-то странно вспыхивала и настойчиво уклонялась от ответов на мои вопросы. На мои ласки она отвечала горячо, но ответы ее были так порывисты и пугливы, что от наших коротких рандеву оставалось в моей памяти одно только мучительное недоумение. Совесть у нее была нечиста — это было ясно, но в чем именно — нельзя было прочесть на виноватом лице Ольги.

— Надеюсь, твоя новая мама здорова? — спросил я Сашу.

— Здорова. Но только ночью у нее зубы болели. Она плакала.

— Плакала? — повернул Урбенин свое лицо к Саше. — Ты видела? Это тебе, милочка, приснилось.

Зубы у Ольги не болели. Если она плакала, то не от боли, а от чего-то другого... Я еще хотел поговорить с Сашей, но это мне не удалось, потому что послышался лошадиный топот, и скоро мы увидели всадника, некрасиво прыгавшего на седле, и грациозную амазонку. Чтобы скрыть от Ольги свою радость, я поднял на руки Сашу, и перебирая пальцами ее белокурые волосы, поцеловал ее в голову.

— Какая ты хорошенькая, Саша! — сказал я. — Какие у тебя славные кудряшки!

Ольга мельком взглянула на меня, молча ответила на мой поклон и, опираясь о руку графа, вошла во флигель. Урбенин поднялся и пошел за ней.

Минут через пять из флигеля вышел граф. Он был весел как никогда. Даже лицо его казалось посвежевшим.

— Поздравь! — сказал он, беря меня под руку и хихикая.

— С чем?

— С победой... Еще одна такая поездка, и, клянусь прахом моих благородных предков, с этого цветка я сорву лепестки.

— Но пока еще не сорвал?

— Пока?.. Чуть-чуть! В продолжение десяти минут «твоя рука в моей

руке», — запел граф, — и... ни разу не отдернула ручки... Зацеловал! Но подождем до завтра, а теперь идем. Меня ждут. Ах, да! Мне нужно поговорить с тобой, голубчик, об одной вещи. Скажи мне, милый, правду ли говорят, что ты тово... питаешь злостные намерения относительно Наденьки Калининой?

— А что?

— Если это правда, то мешать тебе я не стану. Подставлять другому ножку не в моих правилах. Если же ты никаких видов не имеешь, то, конечно...

— Не имею.

— Merci, душа моя!

Граф мечтал убить сразу двух зайцев, вполне уверенный, что это ему удастся. И я в описываемый вечер наблюдал погоню за этими зайцами. Погоня была глупа и смешна, как хорошая карикатура. Глядя на нее, можно было только смеяться или возмущаться пошлостью графа; но никто бы не мог подумать, что эта мальчишеская погоня кончится нравственным падением одних, гибелью других и преступлением третьих!

Граф убил не двух зайцев, а больше! Он их убил, но шкура и мясо достались не ему.

Я видел, как он тайком пожимал руку Ольге, всякий раз встречавшей его дружеской улыбкой, а провожавшей презрительной гримасой. Раз даже, желая показать, что между им и мною нет тайн, он поцеловал ее руку при мне.

— Какой болван! — прошептала она мне на ухо, вытирая свою руку.

— Послушай, Ольга! — сказал я по уходе графа. — Мне кажется, что тебе хочется что-то сказать мне. Хочется?

Я пытливо взглянул на ее лицо. Она вспыхнула и пугливо заморгала глазами, как кошка, пойманная в воровстве.

— Ольга, — сказал я строго, — ты должна сказать мне! Я этого требую!

— Да, я хочу тебе кое-что сказать, — зашептала она, сжимая мне руку. — Я тебя люблю, жить без тебя не могу, но... не ездь ко мне, милый мой! Не люби меня больше и говори мне «вы». Я не могу уж продолжать... Нельзя... И не показывай даже виду, что ты меня любишь.

— Но почему же?

— Я так хочу. Причины знать тебе не нужно, и я их не скажу. Идут... Отойди от меня.

Я не отошел от нее, и ей самой пришлось прекратить наш разговор. Взяв под руку шедшего мимо мужа, она с лицемерной улыбкой кивнула

мне головой и ушла.

Другой графский заяц — Наденька Калинина удостоилась в этот вечер особенного графского внимания. Он вертелся возле нее весь вечер, рассказывал ей анекдоты, острил, кокетничал... а она, бледная, замученная, кривила свой рот в насильственную улыбку. Мировой Калинин все время наблюдал за ними, поглаживал бороду и значительно кашлял. Ухаживанье графа было ему по нутру. У него зятем граф! Что может быть слаще этой мечты для уездного бонвивана? После того, как начались ухаживанья графа за его дочерью, он вырос в своих глазах на целый аршин. А какими величественными взглядами измерял он меня, как ехидно покашливал, когда беседовал со мною! «Ты вот, мол, поцеремонился, ушел, а мы — наплевать! — Теперь у нас граф есть!»

На другой день вечером я опять был в графской усадьбе. На этот раз я беседовал не с Сашей, а с ее братом-гимназистом. Мальчик повел меня в сад и вылил передо мной всю свою душу. Излияния эти были вызваны моим вопросом о житье его с «новой мамашей».

— Она ваша хорошая знакомая, — начал он, нервно расстегивая свой мундирчик, — вы ей расскажете, но я не боюсь... Рассказывайте, сколько угодно! Она злая, низкая!

И он рассказал мне, что Ольга отняла у него комнату, прогнала старуху-няню, служившую у Урбенина десять лет, вечно кричит и злится.

— Вчера вы похвалили волосы сестры Саши... Ведь хорошие волосы? Настоящий лен! А она сегодня утром остригла ее!

«Это ревность!» — объяснил я себе это вторжение Ольги в чуждую ей парикмахерскую область...

— Ей словно завидно стало, что вы похвалили не ее волосы, а Сашины! — подтвердил мальчик мою мысль. — Она и папашу замучила. Папаша страшно тратится на нее, отрывается от дела... и опять начал пить! Опять! Она дурочка... Весь день плачет, что ей приходится жить в бедности, в таком маленьком флигеле. А разве папаша виноват, что у него не много денег? — Мальчик рассказал мне много печального. Он видел то, чего не видел или не хотел видеть его ослепленный отец. У бедняжки был оскорблен отец, оскорблены были сестра, старуха-няня. У него отняли его маленький очаг, где он привык возиться над установкой своих книжек и кормежкой пойманных им щеглят. Всё было обижено, над всем посмеялась глупая и полновластная мачеха! Но бедному мальчику не могло и присниться то страшное оскорбление, которое было нанесено молодой мачехой его семье и свидетелем которого я был в тот же вечер, после разговора с ним. Всё меркло перед этим оскорблением, и остриженные

волосы Саши в сравнении с ним являются ничтожным пустяком.

Поздно вечером я сидел у графа. Мы, по обыкновению, пили. Граф был совершенно пьян, я же только слегка.

— Сегодня мне уже позволили нечаянно коснуться талии, — бормотал он. — Завтра, стало быть, начнем еще дальше.

— Ну, а Надя? С Надей как?

— Шествуем! С нею пока только начало. Переживаем пока еще период разговора глазами. Я брат, люблю читать в ее черных, печальных глазах. В них что-то написано этакое, чего на словах не передашь, а можешь понять только душой. Выпьем?

— Стало быть, ты ей нравишься, если она имеет терпение беседовать с тобой по целым часам. И папаше ее нравишься.

— Папаше? Это ты про того болвана? Ха-ха! Дуралей подозревает во мне честные намерения!

Граф закашлялся и выпил.

— Он думает, что я женюсь! Не говорю уж о том, что мне нельзя жениться, но если честно рассуждать, то для меня лично честнее обольстить девушку, чем жениться на ней... Вечная жизнь с пьяным, кашляющим полустарпком — бррр! Жена моя зачала бы или убежала бы на другой день... Но что это за шум?

Мы с графом вскочили... Захлопали почти одновременно несколько дверей, и к нам в комнату вбежала Ольга. Она была бледна, как снег, и дрожала, как струна, по которой сильно ударили. Волосы ее были распущены, зрачки расширены. Она задыхалась и мяла между пальцами грудные сборки своего ночного пеньюара...

— Ольга, что с тобой? — спросил я, хватая ее за руку и бледнея.

Графа должно было удивить это нечаянно пророненное «тобой», но его он не слышал. Весь обратившийся в большой вопросительный знак, раскрыв рот и выпуча глаза, он глядел на Ольгу, как на привидение.

— Что случилось? — спросил я.

— Он бьет меня! — проговорила Ольга и, зарыдав, упала в кресла. — Он бьет!

— Кто он?

— Муж! Я не могу с ним жить! Я ушла!

— Это возмутительно! — стукнул граф кулаком по столу. — Какое он имеет право! Это тирания... это ... это чёрт знает что такое! Бить жену?! Бить! За что это он вас?

— Ни за что ни про что, — заговорила Оля, утирая слезы. — Вынимаю я из кармана носовой платок, а из кармана и выпало то письмо, что вы мне



вчера прислали... Он подскочил, прочел и... стал бить... Схватил меня за руку, сдавил — посмотрите, до сих пор на руке красные пятна, — и потребовал объяснений... Я, вместо того чтоб объяснять, прибежала сюда... Хоть вы заступитесь! Он не имеет права обращаться так грубо с женой! Я не кухарка! Я дворянка!

Граф заходил из угла в угол и стал молоть пьяным, путающимся языком какую-то чушь, которая, в переводе на трезвый язык, должна была бы означать: «О положении женщин в России».

— Это варварство! Это Новая Зеландия! Не думает ли также этот мужик, что на его похоронах будет зарезана его жена? Дикари ведь, уходя на тот свет, берут с собой и своих жен!..

Я же не мог опомниться... Как нужно было понять внезапный визит Ольги в ночном пеньюаре, что нужно было думать, что решить? Если ее побили, если оскорбили ее достоинство, то почему она бежала не к отцу, не к экономке... наконец, не ко мне, который для нее был все-таки близок? Да и впрямь ли ее оскорбили? Сердце мое говорило о невинности простака Урбенина; оно, чуя правду, сжималось тою болью, которую в это время должен был чувствовать ошеломленный муж. Не задавая вопросов и не зная, с чего начать, я стал успокаивать Ольгу и предложил ей вина.

— Как я ошиблась! Как ошиблась! — вздохнула она сквозь слезы, поднося рюмку к губам. — А ведь каким тихоней прикидывался он, когда ухаживал за мной! Я думала, что это ангел, а не человек!

— А вы хотели, чтоб ему понравилось то письмо, которое выпало из кармана? — спросил я. — Хотели, чтоб он расхохотался?

— Не будем об этом говорить! — перебил меня граф, — Как бы там ни было, а его поступок подл! С женщинами так не обращаются! Я его на дуэль вызову! Я ему покажу! Верьте, Ольга Николаевна, что это не пройдет ему даром!

Граф хорохорился, как молодой индюк, хотя его никто не уполномочивал становиться между мужем и женой. Я молчал и не противоречил ему, потому что знал, что мщение за чужую жену ограничится одним только пьяным словоизвержением в четырех стенах и что о дуэли будет забыто завтра же. Но почему молчала Ольга?.. Не хотелось думать, что она была не прочь от услуг, которые предлагал ей граф. Не хотелось верить, что у этой глупой красивой кошки было так мало достоинства, что она охотно согласится, чтобы пьяный граф стал судьей мужа и жены...

— Я его с грязью смешаю! — провизжал новоиспеченный рыцарь. — Наконец я ему пощечину дам! Завтра же!

И она не зажала рта этому прохвосту, оскорблявшему спяна человека, который был виноват только в том, что обманулся и был обманут! Урбенин сдавил сильно ей руку, и это вызвало скандальный побег в графский дом, теперь же на ее глазах пьяный нравственный недоросль давил честное имя и лил грязными помоями на человека, который в это время должен был изнывать от тоски и неизвестности, сознавать себя обманутым, а она хоть бы бровью двинула!

Пока граф изливал свой гнев, а Ольга утирала слезы, человек подал жареных куропаток. Граф положил гостье полкуропатки... Она отрицательно покачала головой, потом же как бы машинально взяла вилку и нож и начала есть. За куропаткой следовала большая рюмка вина, и скоро от слез не осталось никакого следа, кроме розовых пятен около глаз да редких глубоких вздохов.

Скоро мы услышали смех... Ольга смеялась, как утешенное, забывшее обиду дитя. Граф, глядя на нее, тоже смеялся.

— Знаете, что я надумал? — начал он, подсаживаясь к ней. — Я хочу устроить у себя любительский спектакль. Дадим пьесу с хорошими женскими ролями. А? Как вы думаете?

Начали говорить о любительском спектакле. Как эта глупая беседа не вязалась с тем недавним ужасом, который был написан на лице Ольги, когда она вбежала час тому назад, бледная, плачущая, с распущенными волосами! Как дешевы этот ужас, эти слезы!

А время между тем шло. Пробило двенадцать. Порядочные женщины в эту пору ложатся спать. Ольге пора уже была уходить. Но пробило половину первого, пробило час, а она всё сидела и беседовала с графом.

— Пора уже спать, — сказал я, взглянув на часы. — Я ухожу... Вы позволите проводить вас, Ольга Николаевна?

Ольга поглядела на меня, на графа.

— Куда же я пойду? — прошептала она. — К нему я не могу идти.

— Да, да, конечно, к нему вы уже не можете идти, — сказал граф. — Кто поручится, что он не побьет вас еще раз? Нет, нет!

Я прошелся по комнате. Наступила тишина. Я ходил из угла в угол, а мой друг и моя любовница следили за моими шагами. Мне казалось, что я понимал и эту тишину и эти взгляды. В них было что-то выжидательное, нетерпеливое. Я положил шляпу и сел на диван.

— Тэк-с, — бормотал граф, нетерпеливо потирая руки. — Тэк-с... Такие-то дела...

Пробило половину второго. Граф быстро взглянул на часы, нахмурился и зашагал по комнате. По взглядам, которые он бросал на меня,

видно было, что ему хотелось что-то сказать мне, что-то нужное, но щекотливое, неприятное.

— Послушай, Сережа! — решил он наконец, садясь рядом со мной и шепча мне на ухо. — Ты, голубчик, не обижайся... Ты, конечно, поймешь мое положение, и тебе не покажется странной и дерзкой моя просьба.

— Говори поскорее! Нечего мочалу жевать!

— Видишь ли, в чем дело... тово... Уйди, голубчик! Ты нам мешаешь... Она у меня останется... Ты меня извини за то, что я тебя гоню, но... ты поймешь мое нетерпение.

— Ладно.

Друг мой был отвратителен. Не будь я брезглив, я, быть может, раздавил бы его, как жука, когда он, трясясь, как в лихорадке, просил меня оставить его с Урбениной. Поэтическую «девушку в красном», мечтавшую об эффектной смерти, воспитанную лесами и сердитым озером, хотел взять он, расслабленный анахорет, пропитанный насквозь спиртом и болью! Нет, она не должна быть даже за версту от него!

Я подошел к ней.

— Я ухожу, — сказал я.

Она кивнула головой.

— Мне уйти отсюда? Да? — спросил я, стараясь прочесть истину на ее хорошеньком, разгоревшемся личике. — Да?

Чуть заметным движением своих длинных черных ресниц она ответила: «Да».

— Ты обдумала?

Она отвернулась от меня, как отворачиваются от надоевшего ветра. Ей не хотелось говорить. Да и к чему было говорить? Нельзя на длинную тему ответить коротко, а для длинных речей не было ни места, ни времени.

Я взял шляпу и не простясь вышел. Впоследствии Ольга рассказывала мне, что тотчас же после моего ухода, как только шум от моих шагов смешался с шумом ветра и сада, пьяный граф сжимал уже ее в своих объятиях. А она, закрыв глаза, зажав себе рот и ноздри, едва стояла на ногах от чувства отвращения. Была даже минута, когда она чуть было не вырвалась из его объятий и не убежала в озеро. Были минуты, когда она рвала волосы на голове, плакала. Нелегко продаваться.

Выйдя из дома и направляясь к конюшне, где стояла моя Зорька, я должен был проходить мимо дома управляющего. Я заглянул в окно. При тусклом свете сильно пущенной, коптящей лампы за столом сидел Петр Егорыч. Лица его я не видел. Оно было закрыто руками. Но во всей его толстой, неуклюжей фигуре чудилось столько горя, тоски и отчаяния, что

не нужно было видеть лица, чтобы понять состояние души. Перед ним стояли две бутылки. Одна пустая, другая только что начатая. Обе были водочные. Бедняга искал мира не в себе самом, не в людях, а в алкоголе.

Через пять минут я ехал домой. Темнота была ужасная. Озеро сердито бурлило и, казалось, гневало, что я, такой грешник, бывший сейчас свидетелем грешного дела, дерзал нарушать его суровый покой. В потемках не видал я озера. Казалось, что ревело невидимое чудовище, ревела сама окутывавшая меня тьма.

Я остановил Зорьку, закрыл глаза и задумался под рев чудовища.

— А что если я ворочусь сейчас и уничтожу их?

Страшная злоба бушевала в душе моей... Всё то небольшое хорошее и честное, что осталось во мне после продолжительной жизненной порчи, всё то, что уцелело от тления, что я берег, лелеял, чем гордился, было оскорблено, оплевано, обрызгано грязью!

Ранее знал я продажных женщин, покупал их, изучал, но у тех не было невинного румянца и искренних голубых глаз, которые видел я в то майское утро, когда шел лесом на тeneвскую ярмарку... Я, сам испорченный до мозга костей, прощал, проповедовал терпимость ко всему порочному, снисходил до слабости... Был я того убеждения, что нельзя требовать от грязи, чтобы она не была грязью, и нельзя винить те червонцы, которые силою обстоятельств попадают в грязь... Но ранее не знал я, что червонцы могут растворяться в грязи и смешиваться с нею в одну массу. Растворимо, значит, и золото!

Сильный порыв ветра сорвал с меня шляпу и унес ее в окружавший мрак. Сорвавшаяся шляпа на лету шмыгнула по морде Зорьки. Она испугалась, взвилась на дыбы и понеслась по знакомой дорожке.

Приехав домой, я повалился в постель. Поликарп, предложивший мне раздеваться, был ни за что ни про что обруган чёртом.

— Сам — чёрт, — проворчал Поликарп, отходя от кровати.

— Что ты сказал? Что ты сказал? — вскочил я.

— Глухому попу две обедни не служат.

— Ааа... ты еще смеешь говорить мне дерзости! — задрожал я, выливая всю свою желчь на бедного лакея. — Вон! Чтоб и духу твоего здесь не было, негодяй! Вон!

И, не дожидаясь, пока человек выйдет из комнаты, я повалился в постель и зарыдал, как мальчишка. Напряженные нервы не вынесли. Бессильная злоба, оскорбленное чувство, ревность — всё должно было вылиться так или иначе.

— Муж убил свою жену! — горланил мой попугай, ероша свои

жидкие перья...

Под влиянием этого крика мне пришла в голову мысль, что Урбенин мог убить свою жену...

Засыпая, я видел убийство. Кошмар был душащий, мучительный... Мне казалось, что руки мои гладили что-то холодное и что стоило бы мне только открыть глаза, и я увидел бы труп... Мерещилось мне, что у изголовья стоит Урбенин и глядит на меня умоляющими глазами...

После описанной ночи наступило затишье.

Я засел дома, позволяя себе выходить и выезжать только по делам службы. Дел у меня накопилось пропасть, а потому скучать было невозможно. От утра до вечера я сидел за столом и усердно строчил или же допрашивал попавший в мои следовательские когти люд. В Карнеевку, в графскую усадьбу, меня более уже не тянуло.

На Ольгу я махнул рукой. Что с воза упало, то пропало; а она была именно тем, что упало с моего воза и, как я думал, безвозвратно пропало. Я не думал о ней и думать не хотел.

«Глупая, развратная дрянь!» — третировал я ее всякий раз, когда она во время моих усиленных занятий появлялась в моем воображении.

Изредка разве, когда я ложился спать или просыпался утром, мне приходили на память различные моменты из знакомства и непродолжительного житья моего с Ольгой. Мне вспоминались: Каменная Могила, лесной домик, в котором жила «девушка в красном», дорога в Тенево, свидание в пещере... и сердце мое начинало усиленно биться... Я ощущал щемящую боль... Но все это было непродолжительно. Светлые воспоминания быстро стушевывались под напором тяжелых воспоминаний. Какая поэзия прошлого могла устоять перед грязью настоящего? И теперь, покончив с Ольгой, я далеко уже не так глядел на эту «поэзию», как прежде... Теперь я глядел на нее, как на оптический обман, ложь, фарисейство... и она утратила в моих глазах половину прелести.

Граф же мне опротивел окончательно. Я рад был, что не вижу его, и меня всегда злило, когда его усатая физиономия робко появлялась в моем воображении. Он каждый день присылал мне письма, в которых умолял меня не хандрить и посетить «уже не одинокого отшельника». Послушаться его писем — значило бы сделать для себя неприятность.

«Кончено! — думал я. — И слава богу... Надоело...»

Я решил прервать с графом сношения, и эта решимость не стоила мне ни малейшей борьбы. Теперь я был уже не тот, что недели три тому назад, когда после ссоры из-за Пшехоцкого едва сидел дома. Приманки уже не

было...

Посидев безвыходно дома, я заскучал и написал доктору Павлу Ивановичу письмо с просьбой приехать поболтать. Ответа на письмо я почему-то не получил и послал другое. На второе был такой же ответ, как и на первое... Очевидно, милый «щур» делал вид, что сердится... Бедняга, получив отказ от Наденьки Калининой, причиной своего несчастья считал меня. Он имел право сердиться, и если ранее никогда не сердился, то потому, что не умел.

«Когда же это он успел научиться?» — недоумевал я, не получая ответа на свои письма.

На третьей неделе моего упорного, безвыходного сиденья меня посетил граф. Побранив меня за то, что я не езжу к нему и не отвечаю на его письма, он разлегся на диване и прежде, чем захрапеть, поговорил на свою любимую тему — о женщинах...

— Я понимаю, — сказал он, томно щуря глаза и кладя под голову руки, — ты деликатен и щепетилен. Ты не едешь ко мне из боязни нарушить наш дуэт... помешать... Гость не вовремя хуже татарина, гость же в медовый месяц хуже чёрта рогатого. Я тебя понимаю. Но, друг мой, ты забываешь, что ты друг, а не гость, что тебя любят, уважают... Да своим присутствием ты только дополнил бы гармонию... А уж и гармония, братец ты мой! Такая гармония, что и описать тебе не могу!

Граф вытащил из-под головы руку и махнул ею.

— Сам не разберу, хорошо ли мне с нею живется, или скверно. И чёрт не разберет! Бывают действительно минуты, когда полжизни бы отдал за «bis», но зато бывают деньки, когда ходишь из угла в угол, как очумелый, и реветь готов...

— Чего же ради?

— Не понимаю, брат, я этой Ольги. Какая-то лихорадка, а не женщина... В лихорадке то жар, то озноб, так вот и у нее, пять перемен на день. То ей весело, то скучно до того, что глотает слезы и молится... То любит меня, то нет... Бывают минуты, когда она ласкает меня, как отроду не ласкала меня еще ни одна женщина. Но зато бывает и так. Проснешься нечаянно, откроешь глаза и видишь обращенное на тебя лицо... этакое какое-то ужасное, дикое... Перекошено оно, это лицо, злобой, отвращением... Как увидишь этакую штуку, всё обаяние пропало... И часто она так на меня смотрит...

— С отвращением?

— Ну да!.. Не пойму никак... Сошлась со мной, как уверяет, только по любви, а между тем не проходит ночи, чтоб я этакое лица не видел. Чем

объяснить? Мне начинает казаться, чему я, конечно, верить не хочу, что она меня терпеть не может, а отдалась мне только из-за тех тряпок, которые я теперь ей покупаю. Ужасно любит тряпки! В новом платье она в состоянии простоять перед зеркалом от утра до вечера; из-за испорченной оборки она в состоянии проплакать день и ночь... Ужасно суетна! Более всего во мне нравится ей то, что я граф. Не будь я графом, она не полюбила бы меня. Не проходит ни одного обеда и ужина, чтоб она не упрекнула меня со слезами, что я не окружаю себя аристократическим обществом. Ей, видишь, хотелось бы царить в этом обществе... Странная!

Граф устремил свой мутный взор в потолок и задумался. К великому моему удивлению, я заметил, что он на этот раз, сверх обыкновения, был трезв. Это меня поразило и даже тронуло.

— А ты сегодня нормален, — сказал я, — и не пьян, и водки не просишь. Что сей сон означает?

— Да так! Некогда было пить, всё время думал... Я, надо сказать тебе, Сережа, увлекся серьезно, не на шутку. Она мне понравилась страшно. Да оно и понятно... Женщина она редкая, недюжинная, не говоря уж о наружности. Умишко неособенный, но сколько чувства, изящества, свежести!.. Сравнить ее с моими обычными Амалиями, Анжеликами да Грушами, любовью которых я доселе пользовался, невозможно. Она нечто из другого мира, мира, который мне незнаком.

— Философствуй! — засмеялся я.

— Увлёкся, вроде как бы полюбил! Но теперь вижу, что напрасно я стараюсь ноль возвести в квадратную степень. То была маска, вызвавшая во мне фальшивую тревогу. Яркий румянец невинности оказывается суриком, поцелуй любви — просьбой купить новое платье... Я взял ее в дом, как жену, она же держит себя, как любовница, которой платят деньги. Но теперь шабаш! Смиряю в душе тревогу и начинаю видеть в Ольге любовницу... Шабаш!

— Ну, что? Как муж?

— Муж? Гм... А как ты думаешь, что с ним?

— Я думаю, что несчастнее его человека и вообразить теперь трудно.

— Ты думаешь? Напрасно... Это такой негодяй, такая шельма, что я нисколько его не жалею. Шельма никогда не может быть несчастлива, она всегда найдет себе выход...

— За что же ты его так ругаешь?

— За то, что он плут. Ты знаешь, что я его уважал, я ему верил, как другу... Я и даже ты — все вообще считали его человеком честным, порядочным, неспособным на обман. А между тем он меня обкрадывал,

грабил! Пользуясь своим положением управляющего, он распоряжался моим добром, как хотел. Не брал только то, чего нельзя было сдвинуть с места.

Я, зная Урбенина как человека в высшей степени честного и бескорыстного, услышав слова графа, вскочил, как ужаленный, и подошел к графу.

— Ты поймал его на воровстве? — спросил я.

— Нет, но я знаю о его воровских проделках из достоверных источников.

— Из каких же это источников, позвольте узнать?

— Не беспокойся, напрасно не стану обвинять человека. Мне Ольга всё про него рассказала. Она, еще не бывши его женой, собственными глазами видела, как он отправлял в город возы битых кур и гусей. Не раз она видела, как мои гуси и куры шли в подарок каким-то благодетелям, у которых квартирует его сын-гимназист. Мало того, она видела, как он туда же отправлял муку, просо, сало. Допустим, что всё это пустяки, но разве эти пустяки ему принадлежат? Тут дело не в стоимости, а в принципе. Принцип оскорблен! Потом-с. Она видела у него в шкафу пачку денег. На вопрос ее, чьи это деньги и откуда он их взял, он попросил ее не проболтаться, что у него есть деньги. Милый мой, ты знаешь, что он гол, как сокол! Жалованья его едва хватает на пропитание... Объясни же мне, откуда у него взялись эти деньги?

— И ты, глупец, даешь веру словам этой маленькой гадины? — закричал я, возмущенный до глубины души. — Ей мало того, что она бежала от него, опозорила его на весь уезд. Ей нужно было еще предать его! Такое маленькое, необъемистое тело, а сколько в нем таится всякой мерзости!.. Куры, гуси, просо... хозяин, хозяин! Твое политико-экономическое чувство, твоя сельскохозяйственная глупость оскорблены тем, что он к празднику посылал в подарок битую птицу, которую съели бы лисицы да хорьки, если бы ее не били да не дарили, но проверял ли ты хоть раз те громадные отчеты, которые подает тебе Урбенин? Считал ли тысячи и десятки тысяч? Нет! Да что с тобой говорить? Ты глуп и животен. Рад бы упечь мужа своей любовницы, да не знаешь как!

— Моя связь с Ольгой тут ни при чем. Муж он ей или не муж, но, раз он украл, я должен открыто назвать его вором. Но оставим плутовство в стороне. Скажи мне: честно или не честно получать жалованье и по целым дням валяться без просыпу пьяным? Он пьян каждый день! Нет того дня, чтоб я не видел, как он пишет мыслете! Гадко и низко! Так дела порядочные люди не делают.



— Потому-то он и пьет, что он порядочный, — сказал я.

— У тебя какая-то страсть заступаться за подобных господ. Но я порешил быть беспощадным. Сегодня я отослал ему расчет и попросил очистить место для другого. Терпение мое лопнуло.

Убеждать графа в том, что он несправедлив, непрактичен и глуп, я почел излишним. Не перед графом заступаться за Урбенина.

Дней через пять я услышал, что Урбенин с сыном-гимназистом и с дочкой переехал на житье в город. Говорили мне, что он ехал в город пьяный, полумертвый, и что два раза сваливался с телеги. Гимназист и Саша всю дорогу плакали.

Немного спустя после отъезда Урбенина мне, против моей воли, довелось побывать в графской усадьбе. У одной из графских конюшен воры сломали замок и утащили несколько дорогих седел. Дали знать судебному следователю, т. е. мне, и я *volens-nolens* должен был ехать.

Графа застал я пьяным и сердитым. Он ходил по всем комнатам, искал убежища от тоски и не находил его.

— Замучился я с этой Ольгой! — сказал он, махнув рукой. — Рассердилась на меня сегодня утром, пригрозила утопиться, ушла из дому, и вот, как видишь, до сих пор ее нет. Я знаю, что она не утопится, но все-таки скверно. Вчера целый день куксила и била посуду, третьего дня объелась шоколату. Чёрт знает что за натура!

Я утешил графа, как умел, и сел с ним обедать.

— Нет, пора бросить эти ребячества, — бормотал он во всё время обеда. — Пора, а то глупо и смешно. И к тому же, признаться, она начинает уже мне надоедать своими резкими переходами. Мне хочется чего-нибудь тихого, постоянного, скромного, вроде Наденьки Калининой, знаешь ли... Чудная девушка!

После обеда, гуляя в саду, я встретился с «утопленницей». Увидев меня, она страшно покраснела и — странная женщина — засмеялась от счастья. Стыд на ее лице смешался с радостью, горе с счастьем. Поглядев на меня искоса, она разбежалась и, не говоря ни слова, повисла мне на шею.

— Я люблю тебя, — зашептала она, сжимая мою шею. — Я по тебе так соскучилась, что если бы ты не приехал, то я бы умерла.

Я обнял ее и молча повел к беседке. Через десять минут, расставаясь с нею, я вынул из кармана четвертной билет и подал ей. Она сделала большие глаза.

— Зачем это?

— Это я плачу тебе за сегодняшнюю любовь.

Ольга не поняла и продолжала глядеть на меня с удивлением.

— Есть, видишь ли, женщины, — пояснил я, — которые любят за деньги. Они продажные. Им следует платить деньги. Бери же! Если ты берешь у других, почему же не хочешь взять от меня? Я не желаю одолжений!

Как я ни был циничен, нанося это оскорбление, но Ольга не поняла меня. Она не знала еще жизни и не понимала, что значит «продажные» женщины.

Был хороший августовский день.

Солнце грело по-летнему, голубое небо ласково манило вдаль, но в воздухе уже висело предчувствие осени. В зеленой листве задумчивых лесов уже золотились отжившие листки, а потемневшие поля глядели тоскливо и печально.

Предчувствие неизбежной тяжелой осени залегало и в нас самих. Нетрудно было предвидеть, что развязка была уже близка. Должен же был когда-нибудь ударить гром и брызнуть дождь, чтоб освежить душную атмосферу! Перед грозой, когда на небе надвигаются темные, свинцовые тучи, бывает душно, а нравственная духота уже сидела в нас. Она сказывалась во всем: в наших движениях, улыбках, речах.

Я ехал в легком шарабане. Возле меня сидела Наденька, дочь мирового. Она была бледна, как снег, подбородок и губы ее вздрагивали, как перед плачем, глубокие глаза были полны скорби, а между тем она всю дорогу смеялась и делала вид, что ей чрезвычайно весело.

Впереди и сзади нас двигались экипажи всех родов, времен и калибров. По бокам скакали всадники и амазонки. Граф Карнеев, облеченный в зеленый охотничий костюм, похожий более на шутовской, чем охотничий, согнувшись вперед и набок, немилосердно подпрыгивал на своем вороном. Глядя на его согнувшееся тело и на выражение боли, то и дело мелькавшее на его испитом лице, можно было подумать, что он ездил верхом впервые. На спине его болталась новенькая двустволка, а на боку висела сумка, в которой ворочался подстреленный кулик.

Украшением кавалькады была Оленька Урбенина. Сидя на вороном коне, подаренном ей графом, одетая в черную амазонку и с белым пером на шляпе, она уже не походила на ту девушку в красном, которая несколько месяцев тому назад встретила нас в лесу. Теперь в ее фигуре было что-то величественное, «гран-дамское». Каждый взмах хлыстом, каждая улыбка — всё было рассчитано на аристократизм, на величественность. В ее движениях и улыбках было что-то вызывающее, зажигательное. Она

надменно-фатовски поднимала вверх голову и с высоты своего коня обливала всё общество презрением, словно ей нипочем были громкие замечания, посылаемые по ее адресу нашими добродетельными дамами. Она бравировала и кокетничала своим нахальством, своим положением «при графе», словно ей было неизвестно, что она уже надоела графу и что последний каждую минуту ждал случая, чтоб отвязаться от нее.

— Меня граф хочет прогнать! — сказала мне она с громким смехом, когда кавалькада выезжала со двора, — стало быть, ей было известно ее положение, и она понимала его...

Но к чему же громкий смех? Я глядел на нее и недоумевал: откуда у этой лесной мешчанки могло взяться столько прыти? Когда она успела научиться так грациозно покачиваться на седле, гордо шевелить ноздрями и щеголять повелительными жестами?

— Развратная женщина — та же свинья, — сказал мне доктор Павел Иванович. — Когда ее сажают за стол, она и ноги на стол...

Но это объяснение слишком просто. Никто не мог быть так пристрастен к Ольге, как я, и я первый готов был бы бросить в нее камень; но смутный голос правды шептал мне, что то была не прыть, не бахвальство сытой, довольной женщины, а отчаянность, предчувствие близкой и неизбежной развязки.

Мы возвращались с охоты, на которую отправились с самого утра. Охота вышла неудачна. Около болот, на которые мы возлагали большие надежды, мы встретили компанию охотников, которые объявили нам, что дичь распугана. Нам удалось отправить на тот свет трех куликов и одного утенка — вот и всё, что выпало на долю десятка охотников. В конце концов у одной из амазонок разболелись зубы, и мы должны были поспешить обратно. Возвращались мы прекрасной дорогой по полю, на котором желтели снопы недавно сжатой ржи, в виду угрюмых лесов... На горизонте белели графская церковь и дом. Вправо от них широко расстилалась зеркальная поверхность озера, влево темнела Каменная Могила...

— Какая ужасная женщина! — шептала мне Наденька всякий раз, когда Ольга равнялась с нашим шарабаном. — Какая ужасная! Она столько же зла, сколько и красива... Давно ли вы были шафером на ее свадьбе? Не успела она еще износить с тех пор башмаков, как ходит уже в чужом шелку и щеголяет чужими бриллиантами... Не верится даже этой странной и быстрой метаморфозе... Если уж у нее такие инстинкты, то была бы хоть тактична и подождала бы год, два...

— Торопится жить! Ждать некогда! — вздохнул я.

— А знаете, что делается с ее мужем?

— Говорят, пьянствует...

— Да... Папа третьего дня был в городе и видел, как он откуда-то ехал на извозчике. Голова, знаете ли, набок, шапки нет, на лице грязь... Погиб человек! Бедность, говорят, страшная: есть нечего, за квартиру не заплачено. Бедная девочка Саша по целым дням сидит не евши. Папа описал всё это графу... Но ведь вы знаете графа! Он честный, добрый, но не любит задумываться и рассуждать. «Я, говорит, пошлю ему сто рублей». Взял и послал... Я думаю, что большего оскорбления нельзя было нанести Урбенину, как послать ему денег... Он оскорбится этой графской подачкой и станет пять еще больше...

— Да, граф глуп, — сказал я. — Он мог бы послать эти деньги через меня и от моего имени.

— Он не имел права посылать ему денег! Имею ли я право кормить вас, если я вас душу и вы меня ненавидите?

— Это правда...

Мы умолкли и задумались... Мысль о судьбе Урбенина была для меня всегда тяжела; теперь же, когда перед моими глазами гарцевала погубившая его женщина, эта мысль породила во мне целый ряд тяжелых мыслей... Что станет с ним и с его детьми? Чем в конце концов кончит она? В какой нравственной луже кончит свой век этот тщедушный, жалкий граф?

Возле меня сидело существо, единственно порядочное и достойное уважения... Двух только людей знал я в нашем уезде, которых я в силах был любить и уважать, которые одни только имели право отвернуться от меня, потому что стояли выше меня... Это были Надежда Калинина и доктор Павел Иванович... Что ожидало их?

— Надежда Николаевна! — сказал я ей. — Сам того не желая, я причинил вам немало зла и менее, чем кто-либо имею право рассчитывать на вашу откровенность. Но, клянусь вам, никто не поймет вас так, как я пойму. Ваше горе — мое горе, ваше счастье — мое счастье... Если я задам вам сейчас вопрос, то не заподозрите в нем праздное любопытство. Скажите мне, моя дорогая, зачем вы позволяете этому пигмею графу приближаться к вам? Что вам мешает гнать его от себя и не слушать его гнусных любезностей? Ведь его ухаживанья не делают чести порядочной женщине! Зачем вы даете повод этим сплетницам ставить ваше имя рядом с его именем?

Наденька поглядела на меня своими ясными глазами и, словно прочитав на моем лице искренность, весело улыбнулась.

— Что же они говорят? — спросила она.

— Они говорят, что ваш папенька и вы ловите графа и что граф, в

конце концов, натянет вам нос.

— Не знают они графа, а потому так и говорят! — вспыхнула Наденька. — Бесстыдные сплетницы! Они привыкли видеть в людях одно только дурное... Хорошее недоступно их пониманию!

— А вы нашли в нем хорошее?

— Да, я нашла! Вы первый должны были бы знать, что я не допустила бы его к себе, если бы не была уверена в его честных намерениях!

— Стало быть, у вас дело дошло уже до «честных намерений»? — удивился я. — Скоро... А на что вам сдались его честные намерения?

— Вы хотите знать? — спросила она, и глаза ее заблестали. — Те сплетницы не лгут: я хочу выйти за него замуж! Не стройте удивленной физиономии и не улыбайтесь! Вы скажете, что выходить не любя нечестно и прочее, что уже тысячу раз было сказано, но... что же мне делать? Чувствовать себя на этом свете лишнею мебелью очень тяжело... Жутко жить, не зная цели... Когда же этот человек, которого вы так не любите, сделает меня своею женою, то у меня уже будет задача жизни... Я исправлю его, я отучу его пить, научу работать... Взгляните на него! Теперь он не похож на человека, а я сделаю его человеком.

— И так далее и так далее, — сказал я. — Вы сбережете его громадное состояние, будете творить благие дела... Весь уезд будет благословлять вас и видеть в вас ангела, ниспосланного на утешение несчастных... Вы будете матерью и воспитаєте его детей... Да, великая задача! Умная вы девушка, а рассуждаете, как гимназист!

— Пусть моя идея никуда не годится, пусть она смешна и наивна, но я живу ею... Под влиянием ее я стала здоровей и веселей... Не разочаровывайте же меня! Пусть я сама разочаруюсь, но не теперь, а когда-нибудь... после, в далеком будущем... Оставим этот разговор!

— Еще один нескромный вопрос: вы ждете предложения руки?

— Да... Судя по его записке, которую я сегодня получила от него, судьба моя решится вечером... сегодня... Он пишет мне, что имеет сказать что-то очень важное... От моего ответа, пишет он, будет зависеть счастье всей его жизни...

— Спасибо за откровенность, — сказал я.

Смысл записки, полученной Наденькой, для меня был ясен. Бедную девушку ожидало гнусное предложение... Я порешил избавить ее от него.

— Мы уже приехали к нашему лесу, — сказал граф, поравнявшись с нашим шарабаном. — Не желаете ли, Надежда Николаевна, устроить привал?

И, не дожидаясь ответа, он захлопал в ладоши и скомандовал громким,

дребезжащим тенорком:

— Прива-а-ал!

Мы расположились на опушке леса. Солнце спряталось за деревья, крася в золотистый пурпур одни только верхушки самых высоких ольх да играя на золотом кресте видневшейся вдали графской церкви. Над нашими головами залетали встревоженные кобчики и иволги. Кто-то из мужчин выстрелил и еще более встревожил пернатое царство. Поднялся неугомонный птичий концерт. Этот концерт имеет свою прелесть весной и летом, но, когда в воздухе чувствуется приближение холодной осени, он раздражает нервы и напоминает о скором перелете.

Из чащи потянуло вечернею свежестью. Носы дам посинели, и зябкий граф стал потирать руки. Как нельзя более кстати запахло самоварной гарью и зазвякала чайная посуда. Одноглазый Кузьма, пытая и путаясь в высокой траве, притащил ящик с коньяком. Мы принялись греться.

Продолжительная прогулка на свежем, прохладном воздухе действует на аппетит лучше всяких аппетитных капель. После нее балык, икра, жареные куропатки и прочая снедь ласкают взоры, как розы в раннее весеннее утро.

— Ты сегодня умен, — сказал я графу, отрезывая себе кусок балыка. — Умен, как никогда. Трудно распорядиться умнее...

— Это мы вместе с графом распорядились! — захихикал Калинин, мигнув глазом на кучеров, таскавших из шарабанов кульки с закуской, вина и посуду. — Пикничок выйдет на славу... К концу шампанея будет...

Лицо мирового на этот раз лоснилось таким довольством, как никогда. Не думал ли он, что в этот вечер его Наденьке будет сделано предложение? Не для того ли он припас и шампанского, чтобы поздравить молодых? Я пристально взглянул на его физиономию, но, по обыкновению, не прочел ничего, кроме бесшабашного довольства, сытости и тупой важности, разлитой во всей его солидной фигуре.

Мы весело набросились на закуски. К съедобной роскоши, лежавшей перед нами на коврах, отнеслись безучастно только двое: Ольга и Наденька Калинина. Первая стояла в стороне и, облокотившись о задок шарабана, неподвижно и молча глядела на ягдташ, сброшенный на землю графом. В ягдташе ворочался подстреленный кулик. Ольга следила за движением несчастной птицы и словно ждала ее смерти.

Надя сидела рядом со мною и безучастно глядела на весело жевавшие рты.

«Когда же всё это кончится?» — говорили ее утомленные глаза.

Я предложил ей бутерброд с икрой. Она поблагодарила и положила его

в сторону. Очевидно, ей было не до еды.

— Ольга Николаевна! Вы же чего не садитесь? — крикнул граф Ольге.

Ольга не ответила и продолжала стоять неподвижно, как статуя, и глядеть на птицу.

— Какие есть бессердечные люди, — сказал я, подходя к Ольге. — Неужели вы, женщина, в состоянии равнодушно созерцать мучения этого кулика? Чем глядеть, как он корчится, вы бы лучше приказали его добить.

— Другие мучаются, пусть и он мучается, — сказала Ольга, не глядя на меня и хмурия брови.

— Кто же еще мучается?

— Оставь меня в покое! — прохрипела она. — Я не расположена сегодня говорить ни с тобой... ни с твоим дураком графом! Отойди от меня прочь!

Она вскинула на меня глазами, полными злобы и слез. Лицо ее было бледно, губы дрожали.

— Какая перемена! — сказал я, поднимая ягдташ и добивая кулика. — Какой тон! Поражен! Совсем поражен!

— Оставь меня в покое, говорят тебе! Мне не до шуток!

— Что же с тобой, моя прелесть?

Ольга окинула меня взором снизу вверх и отвернулась.

— Таким тоном разговаривают с развратными и продажными женщинами, — проговорила она. — Ты меня такой считаешь... ну и ступай к тем, святым!.. Я здесь хуже, подлее всех... Ты, когда ехал с этой добродетельной Наденькой, боялся глядеть на меня... Ну, и иди к ним! Чего же стоишь? Иди!

— Да, ты здесь хуже и подлее всех, — сказал я, чувствуя, как мною постепенно овладевает гнев. — Да, ты развратная и продажная.

— Да, я помню, как ты предлагал мне проклятые деньги... Тогда я не понимала значения их, теперь же понимаю...

Гнев овладел всем моим существом. И этот гнев был так же силен, как та любовь, которая начинала когда-то зарождаться во мне к девушке в красном... Да и кто бы, какой камень, остался бы равнодушен? Я видел перед собою красоту, брошенную немилосердной судьбою в грязь. Не были пощажены ни молодость, ни красота, ни грация... Теперь, когда эта женщина казалась мне прекрасней, чем когда-либо, я чувствовал, какую потерю в лице ее понесла природа, и мучительная злость на несправедливость судьбы, на порядок вещей наполняла мою душу...

В минуты гнева я не умею себя сдерживать. Не знаю, что бы еще пришлось Ольге выслушать от меня, если бы она, повернувшись ко мне

спиной, не отошла. Она тихо направилась к деревьям и скоро скрылась за ними... Мне казалось, что она заплакала...

— Вы, милостивые государыни и милостивые государи! — услышал я речь Калинина. — В сей день, в который мы все соединились для... для того, чтоб объединиться... Мы здесь все в сборе, все между собою знакомы, все веселимся и этим давно желанным объединением нашим мы обязаны не кому другому, как нашему светилу, звезде нашей губернии... Вы, граф, не конфузьтесь... Дамы понимают, о ком я говорю... Хе-хе-хе!.. Ну-с, будем продолжать... Так как всем этим мы обязаны нашему просвещенному и юному... юному... графу Карнееву, то предлагаю выпить сей тост за... Но кто-то едет! Кто это?

К опушке, где мы сидели, по направлению от графской усадьбы катила коляска...

— Кто бы это мог быть? — удивился граф, направляя свой бинокль в сторону коляски. — Гм... странно... Это, должно быть, проезжие... Ах, нет! Я вижу рожу Каэтана Казимировича... С кем это он?

И граф вдруг вскочил, как ужаленный... Лицо его покрылось смертельною бледностью, из рук выпал бинокль. Глаза его забежали, как у пойманной мыши, и, словно прося о помощи, останавливались то на мне, то на Наде... Не все уловили его смущение, потому что внимание большинства было отвлечено приближавшейся коляской.

— Сережа, поди сюда на минутку! — зашептал он, хватая меня под руку и отводя в сторону. — Голубчик, умоляю тебя, как друга, как лучшего из людей... Ни вопросов, ни вопрошающих взглядов, ни удивления! Всё расскажу после! Клянусь, что ни одна йота не останется для тебя тайной... Это такое несчастье в моей жизни, такое несчастье, что и выразить тебе не могу! Всё узнаешь, а теперь без вопросов! Помоги мне!

Между тем коляска была всё ближе и ближе... Наконец она остановилась, и глупая тайна нашего графа стала достоянием уезда. Из коляски, пыхтя и улыбаясь, вылез Пшехоцкий, облеченный в новый чечунчиковый костюм. За ним ловко выпрыгнула молодая дама, лет 23-х. Это была высокая стройная блондинка с правильными, но несимпатичными чертами лица и с синими глазами. Я помню только эти синие, ничего не выражающие глаза, напудренный нос, тяжелое, но роскошное платье и несколько массивных браслетов на обеих руках... Я помню, что запах вечерней сырости и пролитого коньяка уступил свое место пронзительному запаху каких-то духов.

— Как вас здесь много! — проговорила незнакомка ломаным русским языком. — Должно быть, очень весело! Здравствуй, Алексис!



Она подошла к Алексису и подставила ему свою щеку. Граф быстро чмокнул и тревожно взглянул на своих гостей.

— Моя жена, рекомендую! — забормотал он. — А это, Созя, мои хорошие знакомые... Гм... Кашель у меня.

— А я только что приехала! Каэтан говорит мне: отдохни! Но я говорю, зачем мне отдыхать, если я всю дорогу спала! И я лучше поеду на охоту! Оделась и поехала... Каэтан, где мои сигареты?

Пшехоцкий подскочил к блондинке и подал ей золотой портсигар.

— А это — брат моей жены... — продолжал граф бормотать, указывая на Пшехоцкого. — Да помоги же мне! — толкнул он меня под локоть. — Выручи, ради бога!

Говорят, что с Калининым сделалось дурно и что Надя, желая помочь ему, не могла подняться с места. Говорят, что многие поспешили сесть в свои экипажи и уехать. Я всего этого не видел. Помню, что я пошел в лес, и, ища тропинки, не глядя вперед, направился, куда ноги пойдут<sup>[10]</sup>.

.....

На ногах моих висели куски липкой глины, и весь я был в грязи, когда вышел из лесу. Вероятно, мне приходилось перепрыгивать через ручей, но обстоятельства этого я не помню. Словно меня сильно избили палками, до того я чувствовал себя утомленным и замученным. Нужно было отправиться в графскую усадьбу, сесть на Зорьку и ехать. Но я этого не сделал, а отправился домой пешком. Не мог я видеть ни графа, ни его проклятой усадьбы<sup>[11]</sup>.

.....

Дорога моя лежала по берегу озера. Водяное чудовище уже начинало реветь свою вечернюю песню. Высокие волны с белыми гребнями покрывали всю громадную поверхность. В воздухе стояли гул и рокот. Холодный, сырой ветер пронизывал меня до костей. Слева было сердитое озеро, а справа неслась монотонный шум сурового леса. Я чувствовал себя с природой один на один, как на очной ставке. Казалось, весь ее гнев, весь этот шум и рев были для одной только моей головы. При других обстоятельствах я, быть может, ощутил бы робость, но теперь я едва замечал окружавших меня великанов. Что гнев природы был в сравнении с той бурей, которая кипела во мне?<sup>[12]</sup>

.....

Придя домой, я не раздеваясь повалился в постель.

— Опять, бесстыжие глаза, в озере в одежде купался! — заворчал Поликарп, стаскивая с меня мокрую и грязную одежду. — Опять, наказание мое! Еще тоже благородный, образованный, а хуже всякого трубочиста... Не знаю, чему там в нпверситете вас учили.

Я, не вынося ни человеческого голоса, ни лица, хотел крикнуть на Поликарпа, чтоб он оставил меня в покое, но слово мое застряло в горле. Язык был так же обессилен и изнеможен, как и всё тело. Как это ни мучительно было, но пришлось позволить Поликарпу стащить с меня всё, даже измокшее нижнее белье.

— И хоть бы повернулся! — ворчал мой слуга, ворочая меня с боку на бок, как маленькую куклу. — Завтра же расчет! Ни-ни... ни за какие деньги! Будет с меня, дурака! Чтобы мне провалиться, ежели останусь!

Свежее, теплое белье не согрело и не успокоило меня. Я дрожал и от гнева и от страха до того сильно, что у меня стучали зубы. Страх был необъяснимый... Не пугали меня ни привидения, ни выходцы из могил, ни даже портрет моего предшественника, Пospелова, висевший над моей головой. Он не спускал с меня своих безжизненных глаз и, казалось, мигал ими, но меня нимало не коробило, когда я глядел на него. Будущее мое было не прозрачно, но все-таки можно было с большею вероятностью сказать, что мне ничто не угрожает, что черных туч вблизи нет. Смерть не скоро, болезни мне были не страшны, личным несчастьям я не придавал значения... Чего же я боялся и отчего стучали мои зубы?

Не был мне понятен и мой гнев... «Тайна» графа не могла разозлить меня так сильно. Мне не было дела ни до графа, ни до его женитьбы, которую он скрыл от меня.

Остается объяснить тогдашнее состояние моей души нервным расстройством и утомлением. Иное объяснение мне не под силу.

По уходе Поликарпа я укрылся с головой, намереваясь уснуть. Было темно и тихо... Беспокойно ворочался в своей клетке попугай, да доносилось мерное постукивание стальных часов из Поликарповой комнаты, во всем же остальном царили мир и тишина. Физическое и душевное утомление взяли свое, и я стал засыпать... Я чувствовал, как с меня постепенно спадала какая-то тяжесть, как ненавистные образы сменялись в сознании туманом... Помню, я даже начинал видеть сон. Снилось мне, что в светлое зимнее утро шел я по Невскому в Петербурге и

от нечего делать засматривал в окна магазинов. На душе моей было легко, весело... Некуда было спешить, делать было нечего — свобода абсолютная... Сознание, что я далеко от своей деревни, от графской усадьбы и сердитого, холодного озера, еще более настраивало меня на мирный, веселый лад. Я остановился у самого большого окна и стал рассматривать женские шляпки... Шляпки были мне знакомы... В одной из них я видел Ольгу, в другой Надю, третью я видел в день охоты на белокурой голове внезапно приехавшей Сози... Под шляпками заулыбались знакомые физиономии... Когда я хотел им что-то сказать, они все три слились в одну большую, красную физиономию. Эта сердито задвигала своими глазами и высунула язык... Кто-то сзади сдавил мне шею...

— Муж убил свою жену! — крикнула красная физиономия. Я вздрогнул, вскрикнул и, как ужаленный, вскочил с постели... Сердце мое страшно билось, на лбу выступил холодный пот.

— Муж убил свою жену! — повторил попугай. — Дай же мне сахару! Как вы глупы! Дурак!

— Это попугай... — успокоил я себя, ложась в постель. — Слава богу...

Слышался монотонный ропот... То о кровлю стучал дождь... Тучи, которые я видел на западе, когда шел по берегу озера, заволокли теперь всё небо. Слабо блеснула молния и осветила портрет покойного Пospелова... Над самой моей головой прогремел гром...

«Последняя гроза за это лето», — подумал я.

Вспомнилась мне одна из первых гроз... Точно такой же гром гремел когда-то в лесу, когда я первый раз был в домике лесничего... Я и девушка в красном стояли тогда у окна и глядели на сосны, которые освещала молния... В глазах прекрасного создания светился страх. Она сказала мне, что мать ее умерла от молнии и что она сама жаждет эффектной смерти... Хотелось бы ей одеться так, как одеваются богатейшие аристократки уезда. Она чуяла, что к ее красоте шла роскошь наряда. И, сознавая свое суетное величие, гордая им, она хотела бы взойти на Каменную Могилу и там эффектно умереть.

Мечта ее сб. . . . . хотя и не на Камен. . . . [\[13\]](#)

Потеряв всякую надежду уснуть, я поднялся и сел на кровати. Тихий ропот дождя постепенно обращался в сердитый рев, который я так любил, когда душа моя была свободна от страха и злости... Теперь же этот рев казался мне зловещим. Удар грома следовал за ударом.

— Муж убил свою жену! — каркнул попугай...

Эта была последняя его фраза... Закрыв в малодушном страхе глаза, я

нащупал в темноте клетку и швырнул ее в угол...

— Черти бы тебя взяли! — крикнул я, услышав звон клетки и писк попугая...

Бедная, благородная птица! Полет в угол не обошелся ему даром... На другой день его клетка содержала в себе холодный труп. За что я убил его? Если его любимая фраза о муже, убившем свою жену, напомн . . . . . [\[14\]](#)

Мать моего предшественника, Поспелова, уступая мне квартиру, взяла с меня деньги за всю обстановку, даже за фотографические изображения не знакомых мне людей. Но она ни копейки не взяла с меня за дорогого попугая. Накануне своего отъезда в Финляндию она всю ночь прощалась со своей благородной птицей. Я помню всхлипывания и причитывания, которыми сопровождалось это прощанье. Помню слезы, с которыми она просила меня сберечь ее друга до ее возвращения. Я дал ей честное слово, что ее попугай не пожалеет о том, что познакомился со мною. И не сдержал я этого слова. Я убил птицу. Воображаю, что сказала бы старуха, если бы узнала о судьбе своего крикуна!

Кто-то осторожно постучался в мое окно. Домишко, в котором я жил, стоял по дороге одним из крайних, и стук в окно приходилось мне слышать нередко, в особенности в дурную погоду, когда проезжие искали ночлега. На сей раз стучались ко мне не проезжие. Пройдя к окну и дождавшись, когда блеснет молния, я увидел темный силуэт какого-то высокого и тонкого человека. Он стоял перед окном и, казалось, ежился от холода. Я отворил окно.

— Кто здесь? Что нужно? — спросил я.

— Сергей Петрович, это я! — услышал я жалобный голос, каким говорят сильно иззябшие и испуганные люди. — Это я! К вам, мой дорогой!

В жалобном голосе темного силуэта узнал я, к своему великому удивлению, голос моего друга, доктора Павла Ивановича. Посещение «щура», ведущего регулярную жизнь и ложащегося спать раньше двенадцати, было непонятно. Что могло заставить его изменить своим правилам и явиться ко мне в два часа ночи да вдобавок еще в такую ужасную погоду?

— Что вам нужно? — спросил я, послав в глубине души нежданного гостя к чёрту.

— Извините, голубчик... Я хотел постучать в дверь, но ваш Поликарп, наверное, спит теперь, как мертвец. Я решился постучать в окно.

— Да что вам нужно?

Павел Иваныч подошел ближе к моему окну и забормотал что-то

непонятное. Он дрожал и походил на пьяного.

— Я вас слушаю! — сказал я, теряя терпение.

— Вы... вы, я вижу, сердитесь, но... если бы вы знали всё, что случилось, то вы перестали бы сердиться на также пустяки, как прерванный сон и визит не в пору... Не до сна теперь! Господи боже мой! Жил я на свете три десятка и только впервые сегодня так страшно несчастлив! Я несчастлив, Сергей Петрович!

— Ах, да что же случилось? И какое мне дело? Я сам еле стою на ногах... Не до людей мне!

— Сергей Петрович! — проговорил «щур» плачущим голосом, протягивая в потемках к моему лицу мокрую от дождя руку. — Честный человек! Друг мой!

И засим я услышал мужской плач. Плакал доктор.

— Павел Иванович, идите домой! — сказал я после некоторого молчания. — Сейчас я не могу с вами говорить... Я боюсь и своего и вашего настроения. Мы не поймем друг друга...

— Дорогой мой! — проговорил доктор умоляющим голосом. — Женитесь на ней.

— Вы с ума сошли! — сказал я, захлопывая окно...

После попугая доктор был второй пострадавший от моего настроения. Я не пригласил его в комнату и захлопнул перед его носом окно. Две грубые, неприличные выходки, за которые я вызвал бы на дуэль даже женщину<sup>[15]</sup>. Но кроткий и незлобный «щур» не имел понятия о дуэли. Он не знал, что значит сердиться.

Минуты через две блеснула молния, и я, взглянув на окно, увидел согнувшуюся фигуру моего гостя. Поза его на этот раз была просительная, выжидательная, как у нищего, стерегущего милостыню. Он ждал, вероятно, что я прощу его и позволю ему высказаться.

К счастью, во мне зашевелилась совесть. Мне стало жаль себя, жаль, что природа всадила в меня столько жесткости и мерзости! Низкая душа моя была такой же кремень, как и мое здоровое тело...<sup>[16]</sup> Я подошел к окну и открыл его.

— Войдите в комнату! — сказал я.

— Некогда!.. Каждая минута дорога! Бедная Надя отравилась, и врачу нельзя отходить от нее... Едва удалось спасти бедняжку... Это ли не несчастье? И вы можете не слушать, захлопывать окно?

— Она жива все-таки?

— Все-таки... Таким тоном не говорят о несчастных, мой хороший

друг! Кто бы мог подумать, что эта умная, честная натура захочет расстаться с жизнью из-за такого субъекта, как граф? Нет, друг мой, к несчастью людей, женщины не могут быть совершенны! Как бы ни была умна женщина, какими бы совершенствами она ни была одарена, в ней все-таки сидит гвоздь, мешающий жить и ей и людям... Возьмем хоть Надю... Ну к чему она это сделала? Самолюбие и самолюбие! Болезненное самолюбие! Чтобы уколоть вас, она задумала выйти за этого графа... Не нужно ей было ни его денег, ни знатности... Ей нужно было только удовлетворить свое чудовищное самолюбие... И вдруг неудача!.. Вы знаете, что приехала его жена... Оказывается, что этот развратник женат... А еще тоже говорят, что женщины выносливы, что они умеют терпеть лучше мужчин!.. Где же тут выносливость, если такая жалкая причина заставляет хвататься за фосфорные спички? Это не выносливость, а суетность!

— Вы простудитесь...

— То, что я видел сейчас, хуже всякой простуды... Глаза эти, бледность... а! К неудавшейся любви, к неудавшейся попытке насолить вам прибавилось еще неудавшееся самоубийство... Большее несчастье и вообразить себе трудно!.. Дорогой мой, если у вас есть хотя капля сострадания, если... если бы вы ее увидели... ну, отчего бы вам не прийти к ней? Вы любили ее! Если уже не любите, то отчего бы и не пожертвовать ей своей свободой? Жизнь человеческая дорога, и за нее можно отдать... всё! Спасите жизнь!

Кто-то сильно постучал в мою дверь. Я вздрогнул... Сердце мое обливалось кровью!.. Я не верю в предчувствие, но на этот раз тревога моя была не напрасна... Стучались ко мне с улицы...

— Кто там? — крикнул я в окно...

— К вашей милости!

— Что нужно?

— От графа письмо, ваше благородие! Человека убили!

Какая-то темная фигура, закутанная в тулуп, подошла к окну и, ропща на погоду, подала мне письмо... Я быстро отошел от окна, зажег свечу и прочел следующее:

«Забудь, ради бога, всё на свете и приезжай сейчас же. Убита Ольга. Я потерял голову и сейчас сойду с ума. Твой А. К.».

Убита Ольга! От этой короткой фразы у меня закружилась голова и потемнело в глазах... Я сел на кровать и, не имея сил соображать, опустил руки.

— Это вы, Павел Иванович? — услышал я голос присланного мужика. — А я только что к вам хотел ехать... И к вам письмо есть.

Через пять минут я и «щур» сидели в крытом экипаже и ехали к графской усадьбе... По верху экипажа стучал дождь, впереди нас то и дело вспыхивала ослепительная молния.

Слышался рев озера...

Начиналось последнее действие драмы, и двое из действующих лиц ехали, чтобы увидеть раздирающую душу картину.

— Ну, как вы думаете, что нас ждет? — спросил я дорогой Павла Иваныча.

— Ничего я не думаю... Не знаю...

— Я тоже не знаю...

— Гамлет жалел когда-то, что господь земли и неба запретил грех самоубийства, так я теперь жалею, что судьба сделала меня врачом... Глубоко сожалею!

— Боюсь, чтобы, в свою очередь, мне не пришлось пожалеть, что я судебный следователь, — сказал я. — Если граф не смешал убийства с самоубийством и если действительно Ольга убита, то достанется моим бедным нервам!

— Вам можно отказаться от этого дела...

Я вопросительно поглядел на Павла Иваныча и, конечно, благодаря потемкам, ничего не увидел... Откуда он знал, что я могу отказаться от этого дела? Я был любовником Ольги, но кому это было известно, кроме самой Ольги да, пожалуй, еще Пшехоцкого, угостившего меня когда-то аплодисментами?..

— Почему вы думаете, что мне можно отказаться? — спросил я «щура».

— Так... Вы можете заболеть, подать в отставку... Всё это несколько не бесчестно, потому что есть кому заменить вас, врач же поставлен совершенно в другие условия...

«Только-то?» — подумал я.

Экипаж после долгой, убийственной езды по глинистой почве остановился наконец у подъезда. Два окна над самым подъездом были ярко освещены, из крайнего правого, выходившего из спальни Ольги, слабо пробивался свет, все же остальные окна глядели темными пятнами. На лестнице нас встретила Сычиха. Она поглядела на меня своими колючими глазками, и морщинистое лицо ее наморщилось в злую, насмешливую улыбку.

— Ужо будет вам сюрприз! — говорили ее глаза.

Вероятно, она думала, что мы приехали покутить и не знали, что в доме горе.

— Рекомендую вашему вниманию, — сказал я Павлу Ивановичу, стаскивая со старухи чепец и обнажая совершенно лысую голову. — Этой ведьме девяносто лет, душа моя. Если бы нам с вами пришлось когда-нибудь вскрывать этого субъекта, то мы сильно разошлись бы во мнениях. Вы нашли бы старческую атрофию мозга, я же уверил бы вас, что это самое умное и хитрое существо во всем нашем уезде... Чёрт в юбке!

Войдя в залу, я был поражен. Картина, которую я здесь увидел, была совсем неожиданная. Все стулья и диваны были заняты людьми... В углах и около окон тоже стояли группы людей. Откуда они могли взяться? Если бы мне ранее сказал кто-нибудь, что я встречу здесь этих людей, то я бы расхохотался. До того невероятно и неуместно было их присутствие в доме графа в то время, когда, быть может, в одной из комнат лежала умершая или умиравшая Ольга. Это был цыганский хор обер-цыгана Карпова из ресторана «Лондон», тот самый хор, который известен читателю по одной из первых глав. Когда я вошел, от одной из групп отделилась моя старая приятельница Тина и, узнав меня, радостно вскрикнула. По ее бледному смуглому лицу разлилась улыбка, когда я подал ей руку, и из глаз брызнули слезы, когда она хотела мне что-то сказать... Слезы не дали ей говорить, и я не добился от нее ни одного слова. Я обратился к другим цыганам, и они объяснили мне свое присутствие таким образом. Утром граф прислал им в город телеграмму, требуя, чтобы весь хор в полном своем составе обязательно был в графской усадьбе к 9 часам вечера. Они, исполняя этот «заказ», сели на поезд и в восемь часов были уже в этой зале...

— И мы мечтали доставить его сиятельству и господам гостям удовольствие... Мы знаем так много новых романсов!.. И вдруг...

И вдруг прилетел верхом мужик с известием, что на охоте совершено зверское убийство, и с приказанием приготовить постель Ольги Николавны. Мужика не поверили, потому что мужик был пьян, «как свинья», но когда на лестнице послышался шум и через залу пронесли черное тело, сомневаться уже нельзя было...

— И теперь мы не знаем, что нам делать! Оставаться нам здесь нельзя... Когда здесь священник, веселым людям нужно убираться... Да и к тому же все певички встревожены и плачут... Они не могут быть в том доме, где покойник... Нужно уехать, а между тем нам не хотят дать лошадей! Господин граф лежит больны и никого к себе не впускают, а прислуга на просьбу о лошадях отвечает насмешками... Не идти же нам пешком в такую погоду и в такую темную ночь! Прислуга вообще ужасно груба!.. Когда мы попросили для наших дам самовар, нас послали к чёрту...



Все эти жалобы кончились слезным обращением к моему великодушию: не выхлопочу ли я для них экипажи, чтобы они могли убраться из этого «проклятого» дома?

— Если лошади не в загоне и если кучера не разосланы, то вы уедете, — сказал я. — Я прикажу...

Беднягам, одетым в шутовские костюмы и привыкшим кокетничать своими ухарскими манерами, были очень не к лицу их постные физиономии и нерешительные позы. Своим обещанием отправить их на станцию я несколько расшевелил их. Мужской шёпот обратился в громкий говор, а женщины перестали плакать...

Затем, проходя в графский кабинет через целую анфиладу темных, неосвещенных комнат, я заглянул в одну из многочисленных дверей и увидел умиляющую душу картину. За столом около шумевшего самовара сидели Созя и ее брат Пшехоцкий... Созя, одетая в легкую блузу, но всё в тех же браслетах и перстнях, нюхала что-то из флакона и, томничая, брезгливо отхлебывала из чашки. Глаза ее были заплаканы... Вероятно, событие на охоте сильно расстроило ее нервы и надолго испортило расположение ее духа. Пшехоцкий с таким же деревянным лицом, как и прежде, хлебал большими глотками из блюдечка и что-то говорил сестре. Судя по менторскому выражению его лица и манерам, он успокаивал и убеждал не плакать.

Графа, само собою разумеется, я застал в самых разлохмаченных чувствах. Дряблый и хилый человек похудел и осунулся больше прежнего... Он был бледен, и губы его дрожали, как в лихорадке. Голова была повязана белым носовым платком, от которого на всю комнату разило острым уксусом. При моем входе он вскочил с софы, на которой лежал, и, запахнувши полы халата, бросился ко мне...

— А? а? — начал он, дрожа и захлебываясь. — Ну?

И, издав несколько неопределенных звуков, он потащил меня за рукав к софе и, дождавшись, когда я сяду, прижался ко мне, как испуганная собачонка, и принялся изливаться свою жалобу...

— Кто б мог ожидать? а? Постой, голубчик, я укроюсь пледом... у меня лихорадка... Убита, бедная! И как варварски убита! Еще жива, но земский врач говорит, что сегодня ночью умрет... Ужасный день!.. Приехала ни к селу ни к городу эта... чёрт бы ее взял совсем, жена... Это моя несчастнейшая ошибка. Меня, Сережа, в Петербурге пьяного женили. Я скрывал от тебя, мне совестно было, но вот она приехала, и ты можешь ее видеть... Гляди и казись... О, проклятая слабость! Под влиянием минуты и водки я в состоянии сделать всё, что хочешь! Приезд жены —

первый подарок, скандал с Ольгой — второй... Жду третьего... Я знаю, что еще случится... Знаю! Я сойду с ума!

Всплакнувши, выпивши три рюмки водки и назвав себя ослом, негодяем и пьяницей, граф путающимся от волнения языком описал драму, имевшую место на охоте... Рассказал он мне приблизительно следующее.

Минут через 20 — 30 после моего ухода, когда удивление по поводу приезда Сози несколько поулеглось и когда Созя, познакомившись с обществом, стала изображать из себя хозяйку, компания услышала вдруг пронзительный, раздирающий душу крик. Этот крик неслся со стороны леса и раза четыре был повторен эхом. Был он до того необычен, что люди, слышавшие его, вскочили на ноги, собаки залаяли, а лошади наострили уши. Крик был неестественный, но графу удалось узнать в нем женский голос... Звучали в нем отчаяние, ужас... Так должны вскрикивать женщины, когда видят привидение или внезапную смерть ребенка... Встревоженные гости поглядели на графа, граф на них... Минуты три царило гробовое молчание...

И пока господа переглядывались и молчали, кучера и лакеи побежали к тому месту, откуда был слышен крик. Первым вестником скорби был лакей, старый Илья. Он прибежал из леса к опушке и, бледный, с расширенными зрачками, хотел что-то сказать, но одышка и волнение долго мешали ему говорить. Наконец, поборов себя и перекрестившись, он выговорил:

— Убили барыню!

Какую барыню? Кто убил? Но Илья не дал ответа на эти вопросы... Роль второго вестника выпала на долю человека, которого не ожидали и появлением которого были страшно поражены. Были поразительны и неожиданное появление и вид этого человека... Когда граф увидел его и вспомнил, что Ольга гуляет в лесу, то у него замерло сердце и подогнулись от страшного предчувствия ноги.

Это был Петр Егорыч Урбенин, бывший управляющий графа и муж Ольги. Сначала компания услышала тяжелые шаги и треск хвороста... Казалось, что из леса на опушку пробирался медведь. Потом же показалось массивное тело несчастного Петра Егорыча... Выйдя на опушку и увидев компанию, он сделал шаг назад и остановился как вкопанный. Минуты две он молчал и не двигался и таким образом дал себя осмотреть... На нем были его обиходные серенькие пиджак и брюки, достаточно уже поношенные... На голове шляпы не было, и всклокоченные волосы прилипли к вспотевшим лбу и вискам... Лицо его, обыкновенно багровое, а часто и багрово-синее, на этот раз было бледно... Глаза смотрели безумно,

неестественно широко... Губы и руки дрожали...

Но что поразительнее всего, что прежде всего обратило на себя внимание ошеломленных зрителей, так это окровавленные руки... Обе руки и манжеты были густо покрыты кровью, словно их вымыли в кровяной ванне.

После трехминутного столбняка Урбенин, как бы очнувшись от сна, сел на траву по-турецки и простонал. Собаки, чуявшие что-то необычайное, окружили его и подняли лай... Обведя компанию мутными глазами, Урбенин закрыл обеими руками лицо, и наступил новый столбняк...

— Ольга, Ольга, что ты наделала! — простонал он.

Глухие рыдания вырвались из его груди и потрясли богатырские плечи... Когда он отнял от лица руки, то компания увидела на его щеках и на лбу кровь, перешедшую с рук на лицо...

Дойдя до этого места, граф махнул рукой, выпил судорожно рюмку водки и продолжал:

— Дальше мои воспоминания путаются. Как ты можешь себе представить, всё происшедшее так меня ошеломило, что я потерял способность мыслить... Ничего не помню, что потом было! Помню только, что мужчины принесли из лесу какое-то тело, одетое в порванное, окровавленное платье... Я не мог на него смотреть! Положили в коляску и повезли... Не слышал я ни стонов, ни плача... Говорят, что ей в бок засадили тот кинжальчик, который при ней всегда был... помнишь его? Эту вещь я ей подарил. Тупой кинжал, тупее, чем этот край стакана... Какую, стало быть, надо иметь силу, чтобы всадить его! Люблю я, братец, кавказское оружие, но теперь бог с ним, с этим оружием! Завтра же прикажу его выбросить вон!..

Граф выпил еще рюмку водки и продолжал:

— Но какой срам! Какая мерзость! Подвозим мы ее к дому... Все, знаешь, в отчаянии, в ужасе. И вдруг, чёрт бы их взял, этих цыган, слышится разудалое пение!.. Выстроились в ряд и давай, подлецы, орать!.. Хотели, видишь ли, с шиком встретить, а вышло очень некстати... Похоже на Иванушку-дурачка, который, встретивши похороны, пришел в восторг и заорал: «Таскать вам, не перетаскать!» Да, брат! хотел угодить гостям, выписал цыган, а вышла ерунда. Не цыган нужно приглашать, а докторов да духовенство. И теперь я не знаю, что делать! Что мне делать? Не знаю я этих формальностей, обычаев. Кого звать, за кем послать... Может быть, тут полиция нужна, прокурор... Ни черта я не смыслю, хоть убей!.. Спасибо, отец Иеремия, узнавши про скандал, пришел приобщить, а сам

бы я не догадался его пригласить. Умоляю тебя, дружище, возьми на себя все эти хлопоты! Ей-богу, с ума схожу! Приезд жены, убийство... бррр!.. Где теперь моя жена? Ты ее не видел?

— Видел. Она с Пшехоцким чай пьет.

— С братцем, значит... Пшехоцкий — это шельма! Когда я удирал из Петербурга тайком, он пронюхал о моем бегстве и привязался... Сколько он у меня денег выжулил за всё это время, так это уму непостижимо!

Разговаривать долго с графом мне было некогда. Я поднялся и направился к двери.

— Послушай, — остановил меня граф. — Тово... а меня не пырнет этот Урбенин?

— А Ольгу разве он пырнул?

— Понятно, он... Недоумеваю только, откуда он взялся! Какие черти его принесли в лес? И почему именно в этот самый лес! Допустим, что он притаился там и поджидал нас, но почему он знал, что я захочу остановиться именно там, а не в другом месте?

— Ты ничего не понимаешь, — сказал я. — Кстати, раз навсегда прошу тебя... Если я возьму на себя это дело, то, пожалуйста, не высказывай мне своих соображений... Ты потрудишься только отвечать на мои вопросы, но не больше.

Оставив графа, я отправился в комнату, где лежала Ольга...<sup>[17]</sup>

В комнате горела маленькая голубая лампа, слабо освещавшая лица... Читать и писать при ее свете было невозможно. Ольга лежала на своей кровати. Голова ее была в повязках; видны были только чрезвычайно бледный заостренный нос да веки закрытых глаз. Грудь в то время, когда я вошел, была обнажена: на нее клали пузырь со льдом<sup>[18]</sup>. Стало быть, Ольга еще не умерла. Около нее хлопотали два врача. Когда я вошел, Павел Иваныч, щуря глаза, бесконечно сопя и пыхтя, выслушивал ее сердце.

Земский врач, чрезвычайно утомленный и на вид больной человек, сидел около кровати в кресле и, задумавшись, делал вид, что считает пульс. Отец Иеремия, только что кончивший свое дело, заворачивал в епитрахиль крест и собирался уходить...

— А вы, Петр Егорыч, не скорбите! — говорил он, вздыхая и поглядывая в угол. — На все божья воля, к богу и прибегните.

В углу на табурете сидел Урбенин. Он до того изменился, что я едва узнал его. Безделье и пьянство последнего времени сильно сказывались как на его платье, так и на наружности: платье было изношено, лицо тоже.

Бедняга неподвижно сидел и, подперев кулаками голову, не отрывал

глаз от кровати... Руки и лицо его всё еще были в крови... О мытье было забыто...

О, пророчество моей души и моей бедной птицы!

Когда моя благородная, убитая мной птица выкрикивала фразу о муже, убившем свою жену, в моем воображении всегда появлялся на сцену Урбенин. Почему?.. Я знал, что ревнивые мужья часто убивают жен-изменниц, знал в то же время, что Урбенины не убивают людей... И я отгонял мысль о возможности убийства Ольги мужем, как абсурд.

«Он или не он?» — задал я себе вопрос, поглядев на его несчастное лицо.

И, откровенно говоря, я не дал себе утвердительного ответа, несмотря даже на рассказ графа, на кровь, которую я видел на руках и лице.

«Если бы он убил, то он давно бы уже смыл с рук и лица кровь... — вспомнилось мне положение одного приятеля-следователя. — Убийцы не выносят крови своих жертв».

Если бы я захотел пошевелить мозгами, то я вспомнил бы немало сему подобных положений, но не следовало забегать вперед и набивать свою голову преждевременными заключениями.

— Мое почтение! — обратился ко мне земский врач. — Очень рад, что хоть вы пришли... Скажите, пожалуйста, кто здесь хозяин?

— Здесь нет хозяина... Здесь царит хаос... — сказал я.

— Изречение очень милое, но, тем не менее, мне несколько не легче, — желчно закашлялся земский врач. — Три часа прошу, умоляю дать сюда бутылку портвейна или шампанского, и хоть бы кто снизошел к мольбам! Все глухи, как тетерева! Льду только что сейчас принесли, хотя я приказал достать его три часа тому назад. Что же это такое? Человек умирает, а они словно смеются! Граф изволит в своем кабинете распивать ликеры, а сюда не могут дать рюмки! Посылаю в город, в аптеку, — говорят, что лошади заморены и ехать некому, потому что все пьяны... Хочу послать к себе в больницу за лекарствами и повязками, и мне делают одолжение: дают мне какого-то пьяницу, который еле на ногах стоит. Послал его два часа тому назад, и что же? Говорят, что он только что сейчас уехал! Ну не безобразие ли это? Все пьяны, грубы, неотесаны!.. Все какие-то идиоты! Клянусь богом, первый раз в жизни вижу таких бессердечных людей!

Негодование врача было справедливо. Он несколько не преувеличивал, а напротив... Чтоб излить желчь на все беспорядки и безобразия, имевшие место в графской усадьбе, не хватило бы целой ночи. Деморализованная бездельем и безначалием прислуга была отвратительна. Не было того лакея,

который не мог бы служить типом зажившегося и заживевшего человека.

Я отправился добывать вино. Дав две-три оплеухи, я добыл и шампанского и валерьяновых капель, чем несказанно порадовал медиков. Через час<sup>[19]</sup> приехал из больницы фельдшер и привез с собою всё необходимое.

Павлу Ивановичу удалось влить в рот Ольге столовую ложку шампанского. Она сделала глотательное движение и простонала. Затем ей впрыснули под кожу что-то вроде гофманских капель.

— Ольга Николаевна! — крикнул земский врач, нагнувшись к ее уху. — Ольга Ни-ко-ла-евна!

— Трудно ожидать, чтоб она пришла в сознание! — вздохнул Павел Иванович. — Крови много потеряно, да и, кроме того, удар по голове каким-то тупым орудием, наверное, сопровождался сотрясением мозга.

Было ли сотрясение мозга или нет, не мое дело решать, но только Ольга открыла глаза и попросила пить... Возбуждающие средства на нее подействовали.

— Вы теперь можете спросить, что вам нужно... — толкнул меня под локоть Павел Иванович. — Спрашивайте.

Я подошел к кровати... Глаза Ольги были обращены на меня.

— Где я? — спрашивала она.

— Ольга Николаевна! — начал я. — Вы узнаете меня?

Ольга несколько секунд поглядела на меня и закрыла глаза.

— Да! — простонала она. — Да!

— Я — Зиновьев, судебный следователь. Имел честь быть с вами знаком и даже, если припомните, был шафером на вашей свадьбе...

— Это ты? — прошептала Ольга, протягивая вперед левую руку. — Сядь...

— Бредит! — вздохнул «щур».

— Я — Зиновьев, следователь... — продолжал я. — Если помните, я присутствовал на охоте... Как вы себя чувствуете?

— Задавайте вопросы по существу! — шепнул мне земский врач. — Я не ручаюсь, что сознание будет продолжительным...

— Прошу, пожалуйста, не учить! — обиделся я. — Я знаю, что мне говорить... Ольга Николаевна, — продолжал я, обращаясь к Ольге, — вы потрудитесь припомнить события истекшего дня. Я помогу вам... В час дня вы сели на лошадь и поехали с компанией на охоту... Охота продолжалась часа четыре... Засим следует привал на опушке леса... Помните?

— И ты... и ты... убил.

— Кулика? После того, как я добил подстреленного кулика, вы

поморщились и удалились от компании... Вы пошли в лес...<sup>[20]</sup> Теперь потрудитесь собрать все свои силы, поработать памятью. В лесу во время прогулки вы потерпели нападение от неизвестного нам лица. Спрашиваю вас как судебный следователь, это кто был?

Ольга открыла глаза и поглядела на меня.

— Назовите нам имя этого человека! Здесь, кроме меня, трое...

Ольга отрицательно покачала головой.

— Вы должны назвать его, — продолжал я. — Он понесет тяжелую кару... Закон дорого взыщет за его зверство! Он пойдет в каторжные работы...<sup>[21]</sup> Я жду.

Ольга улыбнулась и отрицательно покачала головой. Дальнейший допрос не привел ни к чему. Больше я не добился от Ольги ни одного слова, ни одного движения. В без четверти пять она скончалась.

В седьмом часу утра прибыли из деревни вытребованные мною староста и понятые. Ехать на место преступления было невозможно: дождь, начавшийся ночью, всё еще лил, как из ведра. Маленькие лужи обратились в озера. Серое небо глядело сурово и не обещало солнца; смоченные деревья, уныло свесив свои ветви, сыпали целый град крупных брызг при каждом дуновении ветра. Ехать было невозможно да и, пожалуй, незачем: следы преступления, как-то: кровавые пятна, человеческие следы и проч., вероятно, были за ночь размыты дождем. Но формальность требовала, чтобы место преступления было осмотрено, и я отложил эту поездку до приезда полиции, а пока занялся составлением начерно протокола и допросом. Прежде всего я допросил цыган. Бедные певцы всю ночь просидели в залах, ожидая, что им дадут лошадей для поездки на станцию. Но лошадей им не дали; прислуга посылала их к графу, предупреждая в то же время, что его сиятельство не велели никого «впускать». Не дали им и самовара, который они попросили утром. Это более чем странное, неопределенное положение в чужом доме, где лежала покойница, безызвестность относительно часа выезда и сырая, унылая погода — всё это вогнало бедных цыган и цыганок в такую тоску, что они за одну ночь похудели и побледнели. Они слонялись из угла в угол, словно испуганные или ожидающие строгого вердикта. Своим допросом я еще более увеличил их душевную тяжесть. Во-первых, мой продолжительный допрос надолго отсрочил их отъезд из «проклятого» дома и, во-вторых, испугал их. Простые люди, вообразив, что их сильно подозревают в убийстве, с плачем стали уверять меня, что они не виноваты и знать ничего не знают. Тина, увидав во мне официальное лицо, совсем забыла наши

прежние отношения и, говоря со мной, дрожала и млела от страха, как высеченная девочка. На мою просьбу не волноваться и на уверения, что я вижу в них только свидетелей, помощников правосудия, они в один голос заявили мне, что никогда они свидетелями не были, знать ничего не знают и надеются, что бог и на будущее время избавит их от близкого знакомства с судейским людом.

Я спросил их, какою дорогою ехали они со станции, не ехали ли они через тот лес, где произошло убийство, не отделялся ли кто-нибудь из них от компании, хотя бы даже на короткое время, и не был ли им слышен раздирающий душу крик Ольги<sup>[22]</sup>. Допрос этот не привел ни к чему. Испуганные им цыгане отрядили из хора двух молодцов и послали их в деревню нанять подводы. Бедняги страстно желали уехать. К их несчастью, в деревне, где уже шли разговоры об убийстве в лесу, подозрительно взглянули на смуглых послов, и, задержав их, привели ко мне. Только вечером измученный хор избавился от кошмара и вздохнул свободно, нанявши втридорога пять мужицких подвод и выехав из графского дома. Впоследствии за их приезд было им заплачено, но никто не заплатил им за нравственные муки, которые претерпели они в графских хоромаш...

Допросив их, я произвел у Сычихи обыск<sup>[23]</sup>. В ее сундуках я нашел пропасть всякого старушечьего хлама, но, перебрав все поношенные чепцы и перештопанные чулки, я не нашел ни денег, ни драгоценных вещей, которые старуха воровала у графа и его гостей... Не нашел я и вещей, которые были когда-то украдены у Тины... Очевидно, у Яги было другое складочное место, известное ей одной...

Я не привожу здесь своего протокола, предварительных сведений и осмотра... Длиннен он, да и забыл я его... Сообщаю его здесь в общих чертах вкратце... Прежде всего я описал, в каком положении я застал Ольгу, и во всех подробностях изложил приведенный мною допрос ее. Из этого допроса видно было, что Ольга давала мне ответы сознательно и сознательно же скрывала от меня имя убийцы. Она не хотела, чтоб убийца понес кару, и это неминуемо наводит на предположение, что преступник был для нее дорог и близок.

Осмотр платья, произведенный мною вместе с приехавшим вскоре становым, дал очень многое... Козак от амазонки, бархатный, на шёлковой подкладке, был еще влажен... Правый бок, где находилось отверстие, сделанное кинжалом, был пропитан кровью и местами носил на себе кровавые сгустки... Кровотечение было сильное, и удивительно, как это Ольга не умерла на месте. Левый бок был тоже в крови... Левый рукав был



порван на плече и у кисти руки... Верхние две пуговицы были оторваны, и при осмотре мы их не нашли. Юбка амазонки, черная кашемировая, найдена страшно измятой: ее смяли, когда несли Ольгу из лесу к экипажу и из экипажа к кровати. Потом ее стащили с Ольги и, безобразно скомкав, швырнули под кровать. У пояса она была разорвана; этот продольный разрыв, имевший в длину семь вершков, получился, вероятно, при переноске и стаскивании; он мог быть также сделан при жизни: Ольга, не любившая заниматься починками и не зная, кому отдать починить юбку, могла прятать этот разрыв под казакином. Думаю, что здесь ни при чем дикое остервенение преступника, на которое впоследствии напирал в своей речи товарищ прокурора. Правая часть пояса и правый карман были пропитаны кровью. Носовой платок и перчатка, лежавшие в этом кармане, представляли собой два бесформенных комочка ржавого цвета. На всей юбке, от пояса до конца шлейфа, были рассыпаны кровяные пятна различной величины и формы... Большинство из них были отпечатками окровавленных пальцев и ладоней, принадлежавших, как потом выяснилось на допросе, кучерам и лакеям, несшим Ольгу... Сорочка была окровавлена, и более всего на правой стороне, где находилась дыра, произведенная режущим орудием. Так же, как и в козаке, на левом плече и около кисти были разрывы... Манжетка была наполовину оторвана.

Вещи, бывшие при Ольге, как-то: золотые часы, длинная золотая цепочка, брошка с бриллиантом, серьги, кольца и портмоне с серебряной монетой, были найдены при одежде. Ясно, что преступником руководили не корыстные побуждения.

Судебно-медицинское вскрытие, произведенное в моем присутствии «щуром» и земским врачом, на другой день после смерти Ольги, дало в конечном результате очень длинный протокол, который привожу здесь в общих чертах. При наружном осмотре были найдены врачами следующие повреждения. На голове, на границе с левой височной и теменной костями, — рана, имеющая полтора дюйма длины и проникающая до кости. Края раны не ровны и не прямолинейны... Нанесена она тупым орудием, вероятно, как мы потом порешили, клинком кинжала. На шее, на уровне шейного позвонка, замечается красная полоса, имеющая вид полукруга и обхватывающая циркулярно заднюю половину шеи. На всем протяжении этой полосы усмотрены повреждения кожицы и незначительные кровоподтеки. На левой руке, на один вершок выше кисти, найдено четыре синих пятна: одно на тыльной стороне и другие три на ладонной. Произошли они от давления и, вероятнее всего, пальцами... Последнее подтверждается еще тем, что на одном из пятен усмотрена

маленькая ссадина, произведенная ногтем... Соответственно месту, где находились эти пятна, как припомнит читатель, был разорван левый рукав казакина и наполовину оторвана левая манжетка сорочки... Менаду четвертым и пятым ребром на линии, мысленно проведенной от середины подмышковой впадины вертикально вниз, находится большая, зияющая рана, длиною в дюйм. Края ее ровные, как бы порезанные, пропитаны жидкой и свернувшейся кровью... Рана проникающая... Произведена она режущим орудием и, как видно из собранных предварительных сведений, кинжалом, ширина которого вполне соответствовала величине раны.

Внутренний осмотр показал поранение правых легкого и плевры, воспаление легкого и кровоизлияние в полость плевры.

Врачи, насколько помню, дали приблизительно такое заключение: а) смерть произошла от малокровия, которое последовало за значительной потерей крови; потеря крови объясняется присутствием на правой стороне груди зияющей раны; б) рану головы следует отнести к тяжким повреждениям, а рану груди к безусловно смертельным; последнюю следует признать за непосредственную причину смерти; в) рана головы нанесена тупым орудием, а рана груди — режущим, и притом, вероятно, обоюдоострым; г) все вышеописанные повреждения не могли быть нанесены собственной рукою умершей и е) покушения на оскорбление женской чести, вероятно, не было.

Чтобы не откладывать в долгий ящик и потом не повторяться, передам тут же читателю картину убийства, набросанную мною под первым впечатлением осмотров, двух-трех допросов и чтения протокола вскрытия.

Ольга, отделившись от компании, гуляла в лесу. Замечтавшись или поддавшись печальным мыслям (читатель помнит ее настроение в тот злополучный вечер), она забрела далеко в чащу. Тут ей встретился убийца. Когда она стояла под деревом и думала свои думы, к ней подошел человек и заговорил с ней... Человек этот не был подозрителен, иначе бы она крикнула на помощь, но этот крик не был бы раздирающим душу. Поговорив с ней, убийца схватил ее за левую руку, и так сильно, что порвал рукав казакина и сорочки и оставил след в виде четырех пятен. Тут, вероятно, она вскрикнула тем криком, который слышала компания, — вскрикнула от боли и, вероятно, прочитав на лице и в движениях убийцы его намерение. Желая ли, чтоб она не вскрикнула еще раз, или, может быть, под влиянием злобного чувства он схватил ее за грудь около воротника, о чем свидетельствуют две оторванные верхние пуговицы и красная полоса, найденная врачами на шее... Убийца, хватая за грудь и потрясая, натянул золотую цепочку, бывшую на шее... От трения и давления цепочкой

произошла полоса. Затем убийца наносит ей удар по голове каким-то тупым орудием, например палкой или, быть может, даже клинком кинжала, висевшего у Ольги на поясе. Придя в азарт или найдя, что одной этой раны недостаточно, он обнажает кинжал и с силой вонзает его в правый бок, — я говорю: с силой, потому что кинжал был туп.

Таков мрачный вид картины, которую я имел право набросать на основании вышеизложенных данных. Вопрос, кто был убийцей, по-видимому, не был труден и решался сам собою. Во-первых, убийцей руководили не корыстные цели, а какие-то другие... Подозревать, стало быть, какого-нибудь заблудившегося бродягу или оборванцев, занимавшихся на озере рыбной ловлей, не было надобности. Крик жертвы не мог обезоружить грабителя: снять брошку и часы было делом одной секунды...

Во-вторых, Ольга намеренно не назвала мне убийцы, чего бы она не сделала, если бы убийца был простым грабителем. Очевидно, убийца был ей дорог, и она не хотела, чтобы его подвергали из-за нее тяжелому наказанию... Такими людьми могли быть ее сумасшедший отец, ее муж, которого она не любила, но перед которым, вероятно, чувствовала себя виноватой, граф, которому она, быть может, в душе чувствовала себя обязанной... Сумасшедший отец в вечер убийства, как показала потом прислуга, сидел у себя в лесном домике и весь вечер сочинял письмо к исправнику, прося его обуздать мнимых воров, день и ночь будто бы окружавших квартиру сумасшедшего... Граф до и в момент убийства не отделялся от компании. Оставалось всю тяжесть подозрения взвалить на одного только несчастного Урбенина. Его внезапное появление, вид и прочее могли служить только хорошими уликами.

В-третьих, жизнь Ольги в последнее время состояла из сплошного романа. Роман этот был такого сорта, что обыкновенно оканчиваются уголовщиной. Старый, любящий муж, измена, ревность, побои, бегство к любовнику-графу через месяц-два после свадьбы... Если прекрасная героиня такого романа убита, то не ищите воров и мошенников, а поисследуйте героев романа. По этому третьему пункту самым подходящим героем-убийцей был всё тот же Урбенин...

Предварительное дознание делал я в мозаиковой гостиной, в которой любил когда-то валяться на мягких диванах и любезничать с цыганками... Первым, кого я допросил, был Урбенин. Его привели ко мне из комнаты Ольги, где он всё еще продолжал сидеть в углу на табурете и не отрывал глаз от опустевшей постели... Минуту он стоял передо мной молча, глядя на меня безучастно, потом же, догадавшись, вероятно, что я намереваюсь

говорить с ним как судебный следователь, он проговорил голосом утомленного, убитого горем и тоскою человека:

— Допросите, Сергей Петрович, других свидетелей, а меня уж после... Не могу...

Урбенин считал себя свидетелем или думал, что его таковым считают...

— Нет, мне нужно допросить вас именно теперь, — сказал я. — Потрудитесь сесть...

Урбенин сел против меня и склонил голову. Он был утомлен и болен, отвечал неохотно, и я с большим трудом выжал из него показание.

Он показал, что он — Петр Егорыч Урбенин, дворянин, 50 лет, православного вероисповедания. Имеет имение в соседнем К — м уезде, где служил по выборам и два трехлетия состоял почетным мировым судьей. Разорившись, заложил имение и почел за нужное поступить на службу. В управляющие к графу поступил он шесть лет тому назад. Любя агрономию, он не стыдился служить частному лицу и находит, что только глупцы стыдятся труда. Жалованье получал он от графа исправно, и жаловаться ему не на что. От первого брака имеет сына и дочь, и т. д. и т. д.

На Ольге женился по страстной любви. С чувством своим он долго и мучительно боролся, но ни здравый смысл, ни логика практического пожилого ума — ничего не подделали: пришлось поддаться чувству и жениться. Что Ольга выходит за него не по любви, он знал, но, считая ее в высокой степени нравственной, он решил довольствоваться одной только ее верностью и дружбою, которую надеялся заслужить.

Дойдя до того места, где начинаются разочарование и оскорбление седин, Урбенин попросил позволения не говорить о «прошлом, которое ей простит господь», или же, по крайней мере, отложить разговор об этом до будущего.

— Не могу... Тяжело... Да и сами вы видели.

— Хорошо, оставим до будущего раза... Теперь только скажите мне: правда ли, что вы били вашу жену? Говорят, что, найдя однажды у нее записку графа, вы ударили ее...

— Это неправда... Я только схватил ее за руку, она же расплакалась и побежала в тот вечер с жалобой...

— Отношения ее к графу были вам известны?

— Я просил отложить этот разговор... Да и к чему он?

— Ответьте мне только на один этот вопрос, имеющий большую важность... Были ли вам известны отношения вашей жены к графу?

— Конечно...

— Я так и запишу, а об остальном, касающемся неверности вашей жены, до следующего раза... Теперь мы перейдем к другому, а именно: я попрошу вас объяснить мне, как вы попали вчера в лес, где была убита Ольга Николаевна... Ведь вы, как говорите, в городе были... Как же вы очутились в лесу?

— Да-с, я в городе живу, у двоюродной сестры, с самого того времени, как потерял место... Занимался тем, что искал место и пьянствовал с горя... Особенно сильно пил в этом месяце... Прошлой недели, например, совсем не помню, потому что пил без просыпа... Третьего дня напился тоже... одним словом, пропал... Пропал безвозвратно!..

— Вы хотели рассказать, каким образом вы очутились вчера в лесу...

— Да-с... Вчера утром проснулся я рано, часа в четыре... Голова болела от вчерашнего пьянства, тело всё ломило, словно в горячке... Лежу я на постели, вижу в окно как солнце всходит, и вспомнилось мне... разное... Тяжело стало... Захотелось вдруг увидеть ее, увидеть хоть раз, может, в последний. И злоба охватила и тоска... Вытащил я из кармана сто рублей, что мне граф прислал, поглядел на них и давай ногами топтать... Топтал-топтал и порешил пойти и бросить ему эту милостыню в лицо. Как бы я ни был голоден и оборван, но чести своей я продать не могу и всякую попытку купить ее считаю оскорблением моей личности. Так вот-с, захотелось взглянуть на Олю, а ему, обольстителю, швырнуть в харю деньги. И так охватило меня это желание, что я чуть с ума не сошел. Чтоб ехать сюда, денег у меня не было. Его сто рублей на себя потратить я не мог. Пошел пешком. Спасибо, на пути попался мне знакомый мужичонка, который за гривенник провез меня восемнадцать верст, а то бы я до сих пор пешком шел. Мужичок ссадил меня в Теневе. Оттуда пошел я пешком сюда и пришел этак часа в четыре.

— Вас видел кто-нибудь здесь в это время?

— Да-с. Сторож Николай сидел у ворот и сказал мне, что господ дома нет и что они на охоте. Я изнемогал от усталости, но желание видеть жену было сильнее боли. Пришлось, ни минуты не отдыхая, идти пешком к месту, где охотились. По дороге я не пошел, а отправился лесочками... Мне каждое дерево знакомо, и заблудиться в графских лесах мне так же трудно, как в своей квартире.

— Но, идя по лесу, а не по дороге, вы могли разминуться с охотниками.

— Нет-с, я всё время держался дороги, и так близко, что мог слышать не только выстрелы, но и разговор.

— Стало быть, вы не предполагали, что встретитесь в лесу с женой?

Урбенин поглядел на меня с удивлением и, подумав немного, ответил:

— Вопрос, извините, странный. Нельзя предполагать, что с волком встретишься, а предполагать страшные несчастья невозможно и подавно: бог посылает их внезапно. Взять хоть этот ужасный случай... Иду я по Ольховскому лесу, никакого горя не жду, потому что у меня и без того много горя, и вдруг слышу страшный крик. Крик был до того резкий, что мне показалось, что меня кто-то резанул в ухо... Бегу на крик...

Рот Урбенина перекосило в сторону, подбородок его задрожал. Он замигал глазами и зарыдал.

— Бегу на крик и вдруг вижу... лежит Оля. Волоса и лоб в крови, лицо ужасное. Начинаю кричать, звать ее по имени... Она не движется... Целую ее, поднимаю.

Урбенин захлебнулся и закрыл лицо рукавом. Через минуту он продолжал:

— Негодяя я не видал... когда бежал к ней, слышал чьи-то поспешные шаги... Вероятно, это он убегал.

— Всё это прекрасно придумано, Петр Егорыч, — сказал я. — Но знаете ли, следователи плохо верят в такие редкие случайности, как совпадение убийства с вашей случайной прогулкой и проч. Придумано недурно, но объясняет очень мало.

— То есть как придумано? — спросил Урбенин, делая большие глаза. — Я не придумывал-с...

Урбенин вдруг покраснел и поднялся.

— Слово вы подозреваете меня... — пробормотал он. — Подозревать, конечно, всякого можно, но вы-то, Сергей Петрович, знаете меня уже давно... Вам грех клеймить меня таким подозрением... Вы меня ведь знаете.

— Я вас знаю — это так... но мои личные мнения тут ни при чем... Личные мнения закон предоставляет только одним присяжным заседателям, в распоряжение же следователя отданы одни только улики... Улик много, Петр Егорыч.

Урбенин испуганно поглядел на меня и пожал плечами.

— Да какие ни были бы улики, — проговорил он, — вы должны понимать... Ну разве я могу... Я! И кого же?! Убить перепелку или кулика еще, пожалуй, можно, а человека... человека, который дороже мне жизни, моего спасения... одна мысль о котором просветляла мое мрачное состояние, как солнце... И вдруг вы подозреваете!

Урбенин махнул рукой и сел.

— Тут и так смерти хочется, а вы еще оскорбляете! Добро бы

оскорблял незнакомый чиновник, а то вы, Сергей Петрович... Позвольте мне уйти-с!

— Можете... Еще раз я допрошу вас завтра, а пока, Петр Егорыч, я должен заключить вас под стражу... Надеюсь, что к завтрашнему допросу вы оцените всю важность имеющихся против вас улик, не станете затягивать понапрасну времени и сознаетесь. Что Ольга Николавна убита вами, я убежден... Больше я вам сегодня ничего не скажу... Можете идти.

Я проговорил это и нагнулся к бумагам... Урбенин поглядел на меня с недоумением, поднялся и как-то странно растопырил руки.

— Вы это шутите или... серьезно? — проговорил он.

— Нам с вами не до шуток... — сказал я. — Можете идти.

Урбенин всё еще продолжал стоять. Я взглянул на него. Он был бледен и растерянно глядел на мои бумаги.

— А отчего это у вас руки в крови, Петр Егорыч? — спросил я.

Он взглянул на свои руки, на которых всё еще была кровь, и пошевелил пальцами.

— Отчего кровь?... Гм... Если это одна из улик, то это плохая улика... Поднимая окровавленную Ольгу, я не мог не опачкать рук в крови... Не в перчатках же я был.

— Вы говорили сейчас мне, что, увидев свою жену, вы кричали, звали на помощь... Отчего же никто не слышал вашего крика?

— Не знаю, меня так ошеломил вид Оли, что я не мог громко кричать... Впрочем, ничего не знаю... Незачем мне оправдываться, да и не в моих это правилах.

— Едва ли вы кричали... Убив жену, вы побежали и были ужасно поражены, когда увидели на опушке людей.

— Я и не заметил ваших людей. Не до людей мне было.

Этим допрос Урбенина на сей раз кончился. После него Урбенин был взят под стражу и заперт в одном из графских флигелей.

На другой или на третий день прикатил из города товарищ прокурора Полуградов — человек, которого я не могу вспомнить без того, чтобы не испортить себе расположение духа. Представьте себе высокого и тощего человека, лет тридцати, гладко выбритого, завитого, как барашек, и щегольски одетого; черты лица его топки, но до того сухи и малосодержательны, что по ним нетрудно угадать пустоту и хлыщеватость изображаемого индивида: голосок тихий, слащавый и до приторности вежливый.

Приехал он рано утром в наемной коляске с двумя чемоданами. Прежде всего он, с сильно озабоченным лицом и жеманно жалуюсь на

утомление, справился, есть ли в графском доме для него помещение. Ему по моей команде отвели маленькую, но очень уютную и светлую комнату, где поставили для него всё, начиная с мраморного рукомойника и кончая спичками.

— Па-аслушайте, милый! Приготовьте мне теплой воды! — начал он, расположившись в комнате и брезгливо понюхивая воздух. — Чеаэк, я вам говорю! Теплой воды, пожалуйста...

И, прежде чем приступить к делу, он долго одевался, умывался и причесывался; даже почистил себе зубы красным порошком и минуты три обрезал свои острые, розовые ногти.

— Ну-с, — приступил он, наконец, к делу, перелистывая наши протоколы, — в чем дело?

Я рассказал ему, в чем дело, не пропуская ни одной подробности...

— А на месте преступления были?

— Нет, еще не был.

Товарищ прокурора поморщился, провел своей белой, женской рукой по свежeweымытому лбу и зашагал по комнате.

— Мне непонятны соображения, по которым вы еще там не были, — забормотал он: — это прежде всего нужно было сделать, полагаю. Вы забыли или не сочли нужным?

— Ни то, ни другое: вчера ждал полицию, а сегодня поеду.

— Там теперь ничего не осталось: все дни идет дождь, да и вы дали время преступнику скрыть следы. По крайней мере, вы поставили там сторожа? Нет? Н-не понимаю!

И франт авторитетно пожал плечами.

— Пейте чай, а то он простынет, — сказал я тоном равнодушного человека.

— Я люблю холодный.

Товарищ прокурора нагнулся к бумагам и, сопя на всю комнату, стал читать вполголоса, изредка вставляя свои замечания и поправки. Раза два его рот pokrивился в насмешливую улыбку: гусю лапчатому<sup>[24]</sup> не нравились почему-то ни мой протокол, ни протокол врачей. В вычищенном и вымытом чиновнике сильно высказывался педант, нафаршированный самомнением и чувством собственного достоинства.

В полдень мы были на месте преступления. Шел проливной дождь. Конечно, не нашли мы ни пятен, ни следов: всё было размыто дождем. Кое-как удалось мне найти пуговицу, недостававшую на амазонке убитой Ольги, да товарищ прокурора подобрал какую-то красную мякоть, которая впоследствии оказалась красной табачной оберткой. Сначала мы было



набредли на куст, у которого были надломаны две боковые веточки; товарищ прокурора обрадовался этим веточкам: они могли быть сломаны преступником, а потому указывали бы направление, по которому шел преступник, убив Ольгу. Но радость прокурора была напрасна: скоро мы нашли много кустов с поломанными ветками и ошипанными листьями; оказалось, что через место преступления проходил скот.

Набросав план местности и расспросив взятых с нами кучеров о положении, в котором была найдена Ольга, мы поехали обратно, чувствуя себя не солоно хлебавши. Когда мы исследовали место, в движениях наших посторонний наблюдатель мог бы уловить лень, вялость... Быть может, движения наши отчасти были парализованы тем обстоятельством, что преступник был уже в наших руках и, стало быть, не было надобности пускаться в лекоковские анализы.

Возвратившись из леса, Полуградов опять долго умывался и одевался, опять требовал теплой воды. Покончивши с туалетом, он изъявил желание допросить еще раз Урбенина. На этом допросе бедный Петр Егорыч не сказал ничего нового: он по-прежнему отрицал свою виновность и ни во что ставил наши улики.

— Я даже удивляюсь, как это можно меня подозревать, — сказал он, пожимая плечами, — странно!

— Не наивничайте, любезнейший! — сказал ему Полуградов, — напрасно подозревать никто не станет, а если подозревают, то, значит, имеют на то причины!

— Да какие ни были бы причины, как бы ни были тяжелы улики, но надо же ведь рассуждать по-человечески! Не могу я убить... понимаете? Не могу... Стало быть, чего же стоят ваши улики?

— Ну! — махнул рукой товарищ прокурора, — беда с этими интеллигентными преступниками: мужику втолкуешь, а извольте-ка с этим поговорить! Не могу... по-человечески... так и бьют на психологию!

— Я не преступник, — обиделся Урбенин, — прошу вас быть в ваших выражениях поосторожнее...

— Замолчите, любезнейший! Некогда нам перед вами извиняться и выслушивать ваши неудовольствия... Не угодно вам сознаваться, так и не признавайтесь, — только позвольте уж нам считать вас лгуном...

— Как вам угодно, — проворчал Урбенин, — вы можете проделывать теперь со мной, что вам угодно... ваша власть...

Урбенин махнул рукой и продолжал, глядя в окно:

— Мне, впрочем, всё равно: жизнь пропала.

— Послушайте, Петр Егорыч, — сказал я, — вчера и третьего дня вы

были так убиты горем, что еле держались на ногах, и едва выговаривали лаконические ответы; сегодня же, напротив, вы имеете такой цветущий, конечно, сравнительно, и веселый вид и даже пускаетесь в разглагольствования. Обыкновенно ведь горюющим людям не до разговоров, а вы мало того, что длинно разговариваете, но еще и высказываете мелочное неудовольствие. Чем объяснить такую резкую перемену?

— А вы чем объясняете ее? — спросил Урбенин, насмешливо щуря на меня глаза.

— Я это объясняю тем, что вы забыли свою роль. Трудно ведь долго актерствовать: или роль забудешь, или надоест.

— Это следовательское измышление, — усмехнулся Урбенин, — и оно делает честь вашей находчивости... Да, вы правы: перемена произошла во мне большая...

— Вы можете объяснить ее?

— Извольте, скрывать не нахожу нужным: вчера я был так убит и придавлен своим горем, что думал наложить на себя руки или... сойти с ума... но сегодня ночью я раздумался... мне пришла мысль, что смерть избавила Олю от развратной жизни, вырвала ее из грязных рук того шелопаю, моего губителя; к смерти я не ревную: пусть Ольга лучше ей достается, чем графу; эта мысль повеселила меня и подкрепила; теперь уже в моей душе нет такой тяжести.

— Ловко придумано! — процедил сквозь зубы Полуградов, покачивая ногой. — За ответом в карман не лезет!

— Я чувствую, что я говорю искренно, и мне удивительно, что вы, образованные люди, не можете отличить искренности от притворства! Впрочем, предубеждение слишком сильное чувство, под влиянием его не ошибаться трудно; я понимаю ваше положение, воображаю, что будет, когда, поверив вашим уликам, станут меня судить... воображаю: возьмут во внимание мою зверскую физиономию, мое пьянство... у меня не зверская наружность, но предубеждение возьмет свое...

— Хорошо, хорошо, довольно, — сказал Полуградов, нагибаясь к бумагам, — ступайте...

По уходе Урбенина мы приступили к допросу графа. Его сиятельство пожаловал к допросу в халате и с уксусной повязкой на голове; познакомившись с Полуградовым, он развалился на кресле и стал давать показания:

— Я вам всё расскажу, с самого начала... Ну, что поделявает теперь ваш председатель Лионский? Всё еще не развелся с женой? Я с ним

случайно в Петербурге познакомился... Господа, да что же вы не велите себе чего-нибудь подать? С коньяком как-то веселее и разговаривать... а что в этом убийстве виноват Урбенин, я не сомневаюсь...

И граф рассказал нам всё то, что уже знакомо читателю. По просьбе прокурора, он во всех подробностях рассказал свое житье с Ольгой и, описывая прелести житья с хорошенькой женщиной, так увлекся, что несколько раз причмокнул губами и подмигнул глазом. Из его показания я узнал одну очень важную подробность, которая неизвестна читателю. Я узнал, что Урбенин, живя в городе, беспрестанно бомбардировал графа письмами; в одних письмах он проклинал, в других умолял возвратить ему жену, обещая забыть все обиды и бесчестия; бедняга хватался за эти письма, как за соломинку.

Допросив двух-трех кучеров, товарищ прокурора плотно пообедал, прочел мне целую инструкцию и уехал. Перед отъездом он заходил во флигель, где содержался заключенный Урбенин, и объявил последнему, что наше подозрение в его виновности стало уверенностью. Урбенин махнул рукой и попросил позволения присутствовать на похоронах жены; последнее ему было разрешено.

Полуградов не лгал Урбенину: да, наше подозрение стало уверенностью, мы были убеждены, что нам известен преступник и что он уже в наших руках; но недолго сидела в нас эта уверенность!..

В одно прекрасное утро, когда я запечатывал пакет, чтобы отправить с ним Урбенина в город, в тюремный замок, я услышал страшный шум. Выглянув в окно, я увидел занимательное зрелище: десяток дюжих молодцов волокли из людской кухни одноглазого Кузьму.

Кузьма, бледный и растрепанный, упирался в землю ногами и, не имея возможности оборониться руками, бил своих врагов большой головой.

— Ваше благородие, пожалуйста туда! — сказал мне встревоженный Илья. — Не хочет идти!

— Кто не хочет идти?

— Убивец.

— Какой убивец?

— Кузьма... он убил, ваше благородие... Петр Егорыч занапрасну терпит... ей-богу-с...

Я вышел на двор и направился к людской кухне, где Кузьма, вырвавшийся уже из дюжих рук, рассыпал пощечины направо и налево...

— В чем дело? — спросил я, подходя к толпе...

И мне рассказали нечто странное и неожиданное.

— Ваше благородие, Кузьма убил!

— Врут! — завопил Кузьма, — побей бог, врут!

— А зачем же ты, чёртов сын, кровь отмывал, ежели у тебя совесть чистая? Постой, их благородие всё разберут!

Объездчик Трифон, проезжая мимо реки, заметил, что Кузьма что-то старательно мыл. Трифон думал сначала, что тот стирает белье, но, взглядевшись, он увидел поддевку и жилетку. Ему показалось это странным: суконного не стирают.

— Что ты делаешь? — крикнул Трифон.

Кузьма смутился. Взглядевшись еще пристальнее, Трифон заметил на поддевке бурые пятна...

— Я сейчас же догадался, что это кровь... пошел на кухню и рассказал нашим; те подстерегли и видели, как он ночью сушил в саду поддевку. Ну, известно, испужались. Зачем ему мыть, ежели он не виноват? Стало быть, крива душа, коли прячется... Думали мы, думали и потащили его к вашему благородию... Его тащим, а он пятится и в глаза плюет. Зачем ему пятиться, ежели он не виноват?

Из дальнейшего допроса оказалось, что Кузьма перед самым убийством, в то время, когда граф с гостями сидел на опушке и пил чай, отправился в лес. В переноске Ольги он не участвовал, а стало быть, испачкаться в крови не мог.

Приведенный ко мне в комнату, Кузьма сначала не мог выговорить от волнения ни слова; вращая белком своего единственного глаза, он крестился и бормотал божбу...

— Ты успокойся, расскажи мне, и я тебя отпущу, — сказал я ему.

Кузьма повалился мне в ноги и, заикаясь, стал божиться...

— Чтобы мне сгинуть, ежели это я... Чтобы ни отцу, ни матери моей... Ваше благородие! Убей бог мою душу...

— Ты уходил в лес?

— Это правильно-с, я уходил... подавал господам коньяк и, извините, хлебнул малость; ударило мне в голову и захотелось полежать, пошел, лег и заснул... А кто убил и как, не знаю и ведать — не ведаю... Истинно вам говорю!

— А зачем ты отмывал кровь?

— Боялся, чтобы чего не подумали... чтобы в свидетели не забрали...

— А откуда на твоей поддевке взялась кровь?

— Не могу знать, ваше благородие.

— Как же не можешь знать? Ведь поддевка твоя?

— Это точно, что моя, но не могу знать: увидал кровь, когда уже был проснувшись.

— Так, стало быть, ты во сне запачкал поддевку в кровь?

— Точно так...

— Ну, ступай, братец, подумай... Ты несешь чепуху; подумай, завтра мне скажешь... Иди.

На другой день, когда я проснулся, мне доложили, что Кузьма желает со мной говорить. Я велел его привести.

— Надумал? — спросил я его.

— Точно так, — надумал...

— Откуда же у тебя на поддевке кровь?

— Я, вашескоблагородие, как во сне помню: припоминается что-то, как в тумане, а правда это или нет, не разберу.

— Что же тебе припоминается?

Кузьма поднял вверх свой глаз, подумал и сказал:

— Чудное... словно, как во сне или в тумане... Лежу я на траве пьяный и дремлю, не то я дремлю, не то совсем сплю... Только слышу, кто-то идет мимо и ногами сильно стучит... открываю глаз и вижу, словно как бы в беспамятстве или во сне: подходит ко мне какой-то барин, нагинаяется и вытирает руки о мои полы... вытер о полы, а потом рукой по жилетке мазнул... вот так.

— Какой же это барин?

— Не могу знать; помню только, что это был не мужик, а барин... в господском платье, а какой это барин, какое у него лицо, совсем не помню.

— Какого же цвета у него было платье?

— А кто его знает! Может, белое, а может, и черное... помнится только, что это был барин, а больше ничего не помню... Ах, да, вспомнил! Нагнувшись, они вытерли свои ручки и сказали: «Пьяная сволочь!»

— Это тебе снилось?

— Не знаю... может, и снилось... Только откуда же кровь взялась?

— Барин, которого ты видел, похож на Петра Егорыча?

— Словно как бы нет... а может быть, это и они были... Только они сволочью ругаться не станут.

— Ты припомни... ступай, посиди и припомни... может быть, вспомнишь как-нибудь.

— Слушаю.

Это неожиданное вторжение одноглазого Кузьмы в почти уже законченный роман произвело неосветимую путаницу. Я решительно потерялся и не знал, как понимать мне Кузьму: виновность свою он отрицал безусловно, да и предварительное следствие было против его виновности: убита была Ольга не из корыстных целей, покушения на ее

честь, по мнению врачей, «вероятно, не было»; можно было разве допустить, что Кузьма убил и не воспользовался ни одной из этих целей только потому, что был сильно пьян и потерял соображение или же струсил, что не вязалось с обстановкой убийства?..

Но если Кузьма был не виноват, то почему же он не объяснял присутствия крови на его поддевке и к чему выдумывал сны и галлюцинации? К чему приплел он барина, которого он видел, слышал, но не помнит настолько, что забыл даже цвет его одежды?

Прилетал еще раз Полуградов.

— Вот видите-с! — сказал он. — Осмотри вы место преступления тотчас же, то, верьте, теперь всё было бы ясно, как на ладони! Допроси вы тотчас же всю прислугу, мы еще тогда бы знали, кто нес Ольгу Николаевну, а кто нет, а теперь мы не можем даже определить, на каком расстоянии от места происшествия лежал этот пьяница!

Часа два бился он с Кузьмой, но последний не сообщил ему ничего нового; сказал, что в полусне видел барина, что барин вытер о его полы руки и выбранил его «пьяной сволочью», но кто был этот барин, какие у него были лицо и одежда, он не сказал.

— Да ты сколько коньяку выпил?

— Я отпил полбутылки.

— Да то, может быть, был не коньяк?

— Нет-с, настоящий финь-шампань...

— Ах, ты даже и названия вин знаешь! — усмехнулся товарищ прокурора...

— Как не знать! Слава богу, при господах уж три десятка служим, пора научиться...

Товарищу прокурора для чего-то понадобилась очная ставка Кузьмы с Урбениным... Кузьма долго глядел на Урбенина, помотал головой и сказал:

— Нет, не помню... может быть, Петр Егорыч, а может, и не они... Кто его знает!

Полуградов махнул рукой и уехал, предоставив мне самому из двух убийц выбирать настоящего.

Следствие затянулось... Урбенин и Кузьма были заключены в арестантский дом, имевшийся в деревеньке, в которой находилась моя квартира. Бедный Петр Егорыч сильно пал духом; он осунулся, поседел и впал в религиозное настроение; раза два он присылал ко мне с просьбой прислать ему устав о наказаниях; очевидно, его интересовал размер предстоящего наказания.

— Как же мои дети-то будут? — спросил он меня в один из

допросов. — Будь я одинок, ваша ошибка не причинила бы мне горя, но ведь мне нужно жить... жить для детей! Они погибнут без меня, да и я... не в состоянии с ними расстаться! Что вы со мной делаете?!

Когда стража стала говорить ему «ты» и когда раза два ему пришлось пройти пешком из моей деревни до города и обратно под стражей, на виду знакомого ему народа, он впал в отчаяние и стал нервничать.

— Это не юристы! — кричал он на весь арестантский дом, — это жестокие, бессердечные мальчишки, не щадящие ни людей, ни правды! Я знаю, почему я здесь сижу, знаю! Свалив на меня вину, они хотят скрыть настоящего виновника! Граф убил, а если не граф, то его наемник !

Когда ему стало известно о задержании Кузьмы, он на первых порах очень обрадовался.

— Вот и нашелся наемник! — сказал он мне, — вот и нашелся!

Но скоро, когда он увидел, что его не выпускают, и когда сообщили ему показание Кузьмы, он опять запечалился.

— Теперь я погиб, — говорил он, — окончательно погиб: чтоб выйти из заключения, этот кривой чёрт, Кузьма, рано или поздно назовет меня, скажет, что это я утирал свои руки о его полы. Но ведь видели же, что у меня руки были не вытерты!

Рано или поздно наши сомнения должны были разрешиться.

В конце ноября того же года, когда перед окнами моими кружились снежинки, а озеро глядело бесконечно белой пустыней, Кузьма пожелал меня видеть: он прислал ко мне сторожа сказать, что он «надумал». Я приказал привести его к себе.

— Я очень рад, что ты, наконец, надумал, — встретил я его, — пора уж бросить скрытничать и водить нас за нос, как малых ребят. Что же ты надумал?

Кузьма не отвечал; он стоял посреди моей комнаты и молча, не мигая глазами, глядел на меня... В глазах его светился испуг; да и сам он имел вид человека, сильно испуганного: он был бледен и дрожал, с лица его струился холодный пот.

— Ну, говори, что ты надумал? — повторил я.

— Такое, что чуднее и выдумать нельзя... — выговорил он. — Вчера я вспомнил, какой на том барине галстух был, а нынче ночью задумался и самое лицо вспомнил.

— Так кто же это был?

Кузьма болезненно усмехнулся и вытер со лба пот.

— Страшно сказать, ваше благородие, уж позвольте мне не говорить:

больно чудно и удивительно, думается, что это мне снилось или причудилось...

— Но кто же тебе причудился?

— Нет, уж позвольте мне не говорить: если скажу, то засудите... Дозвольте мне подумать и завтра сказать... Боязно.

— Тьфу! — рассердился я. — Зачем же ты меня беспокоил, если не хочешь говорить? Зачем ты шел сюда?

— Думал, что скажу, а теперь вот страшно. Нет, ваше благородие, отпустите меня... лучше завтра скажу... Если я скажу, то вы так разгневаетесь, что мне пуще Сибири достанется, — засудите...

Я рассердился и велел увести Кузьму<sup>[25]</sup>. В тот же день вечером, чтобы не терять времени и покончить раз навсегда с надоевшим мне «делом об убийстве», я отправился в арестантский дом и обманул Урбенина, сказав ему, что Кузьма назвал его убийцею.

— Я ждал этого... — сказал Урбенин, махнув рукой, — мне всё равно...

Одиночное заключение сильно повлияло на медвежье здоровье Урбенина: он пожелтел и убавился в весе чуть ли не наполовину. Я обещал ему приказать сторожам пускать его гулять по коридору днем и даже ночью.

— Нет нужды опасаться, что вы уйдете, — сказал я.

Урбенин поблагодарил меня и после моего ухода уже гулял по коридору: его дверь уж более не запиралась.

Уходя от него, я постучался в дверь, за которой сидел Кузьма.

— Ну что, надумал? — спросил я.

— Нет, барин... — послышался слабый голос, — пуцай господин прокурор приезжает, ему объявлю, а вам не стану сказывать.

— Как знаешь...

Утром другого дня всё решилось.

Сторож Егор прибежал ко мне и сообщил, что одноглазый Кузьма найден в своей постели мертвым. Я отправился в арестантскую и убедился в этом... Здоровый, рослый мужик, который еще вчера дышал здоровьем и измышлял ради своего освобождения разные сказки, был неподвижен и холоден, как камень... Не стану описывать ужас мой и стражи: он понятен читателю. Для меня дорог был Кузьма как обвиняемый или свидетель, для сторожей же это был арестант, за смерть или побег которого с них дорого взыскивалось... Ужас наш был тем сильнее, что произведенное вскрытие констатировало смерть насильственную... Кузьма умер от задушения... Убедившись в том, что он задушен, я стал искать виновника и искал его



недолго... Он был близко...

Я отправился в камеру Урбенина и, не имея сил сдержать себя, забыв, что я следователь, назвал его в самой резкой и жестокой форме убийцей.

— Мало вам было, негодяй, смерти вашей несчастной жены, — сказал я, — вам понадобилась еще смерть человека, который уличил вас! И вы станете после этого продолжать вашу грязную, воровскую комедию!

Урбенин страшно побледнел и покачнулся...

— Вы лжете! — крикнул он, ударяя себя кулаком по груди.

— Не лгу я! Вы проливали крокодиловы слезы на наши улики, издевались над ними... Бывали минуты, когда мне хотелось верить более вам, чем уликам... о, вы хороший актер!... Но теперь я не поверю вам, даже если из ваших глаз вместо этих актерских, фальшивых слез потечет кровь! Говорите, вы убили Кузьму?

— Вы или пьяны, или же издеваетесь надо мной! Сергей Петрович, всякое терпение и смирение имеет свои границы! Я этого не вынесу!

И Урбенин, сверкая глазами, застучал кулаком по столу.

— Вчера я имел неосторожность дать вам свободу, — продолжал я, — позволил вам то, чего не позволяют другим арестантам: гулять по коридору. И вот, словно в благодарность, вы ночью идете к двери этого несчастного Кузьмы и душите спящего человека! Знайте, что вы погубили не одного только Кузьму: из-за вас пропадут сторожа.

— Что же я сделал такое, боже мой? — проговорил Урбенин, хватая себя за голову.

— Вы хотите знать доказательства? Извольте... ваша дверь, по моему приказанию, была отперта... дурачье-прислуга отперла дверь и забыла припрятать замок... все камеры запираются одинаковыми замками... Вы ночью взяли свой ключ и, выйдя в коридор, отперли им дверь своего соседа... Задушив его, вы дверь заперли и ключ вставили в свой замок.

— За что же я мог его задушить? За что?

— За то, что он назвал вас... Не сообщите вы вчера этой новости, он остался бы жив... Грешно и стыдно, Петр Егорыч!

— Сергей Петрович, молодой человек! — заговорил вдруг нежным, мягким голосом убийца, хватая меня за руку. — Вы честный и порядочный человек... Не губите и не пятнайте себя несправедливыми подозрениями и опрометчивыми обвинениями! Вы не можете только понять, как жестоко и больно вы оскорбили меня, взвалив на мою ни в чем не повинную душу новое обвинение... Я мученик, Сергей Петрович! Бойтесь обидеть мученика! Будет время, когда вам придется извиняться передо мной, и это время скоро... Не обвинят же меня в самом деле! Но извинение это не

удовлетворит вас... Чем набрасываться на меня и оскорблять так ужасно, вы бы лучше по-человечески, — не говорю, по-дружески: вы уже отказались от наших хороших отношений, — вы бы лучше расспросили меня... Как свидетель и ваш помощник я для правосудия принес бы больше пользы, чем в роли обвиняемого. Взять бы хоть это новое обвинение... Я мог бы многое вам сообщить: ночью-то я не спал и всё слышал...

— Что вы слышали?

— Ночью, часа в два... были потемки... слышу, кто-то тихонько ходит по коридору и всё за дверь мою трогает... ходил-ходил, а потом отворил мою дверь и вошел.

— Кто?

— Не знаю: темно было — не видал... Постоял в моей камере минутку и вышел... и именно так, как вот вы говорите, — вынул из двери моей ключ и отпер соседскую камеру. Минутки через две я услышал хрипенье, а потом возню. Думал я, что это сторож ходит и возится, а хрипенье принял за храп, а то бы я поднял шум.

— Басни! — сказал я. — Некому тут, кроме вас, Кузьму убивать. Дежурные сторожа спали. Жена одного из них, не спавшая всю ночь, показала, что все три сторожа в течение ночи спали, как убитые, и не оставляли своих постелей ни на минуту; бедняги не знали, что в этой жалкой арестантской могут водиться такие звери. Служат они здесь уже более двадцати лет, и за всё это время у них не было ни одного случая побега, не говорю уж о такой мерзости, как убийство. Теперь жизнь их, благодаря вам, перевернута вверх дном; да и мне достанется за то, что я не отправил вас в тюремный замок и дал вам здесь свободу гулять по коридорам. Благодарю вас!

Это была последняя моя беседа с Урбениным. Больше я уж с ним никогда не беседовал, если не считать тех двух-трех вопросов, которые задал он мне как свидетелю, сидя на скамье подсудимых...

Мой роман в заголовке назван «уголовным», и теперь, когда «дело об убийстве Ольги Урбениной» осложнилось еще новым убийством, мало понятным и во многих отношениях таинственным, читатель вправе ожидать вступления романа в самый интересный и бойкий фазис. Открытие преступника и мотивов преступления составляет широкое поле для проявления остроумия и мозговой гибкости. Тут злая воля и хитрость ведут войну с знанием, войну интересную во всех своих проявлениях...

Я вел войну, и читатель вправе ожидать от меня описания средств, которые дали мне победу, и он, наверное, ждет следовательских тонкостей, которыми так блещут романы Габорио и нашего Шкляревского; и я готов

оправдать ожидания читателя, но... одно из главных действующих лиц оставляет поле битвы, не дождавшись конца сражения, — его не делают участником победы; всё, что было им сделано ранее, пропадает даром, — и оно идет в толпу зрителей. Это действующее лицо — ваш покорнейший слуга. На другой день после описанной беседы с Урбениным я получил приглашение, или, вернее, приказ подать в отставку. Сплетни и разговоры наших уездных кумушек сделали свое дело... Моему увольнению много способствовали также убийство в арестантском доме, показания, взятые товарищем прокурора тайком от меня у прислуги, и, если помнит читатель, удар, нанесенный мною мужику веслом по голове в один из прошлых ночных кутежей. Мужик поднял дело. Произошла сильная перетасовка. В какие-нибудь два дня я должен был сдать дело об убийстве следователю по особо важным делам.

Благодаря толкам и газетным корреспонденциям, поднялся на ноги весь прокурорский надзор. Прокурор наезжал в графскую усадьбу через день и принимал участие в допросах. Протоколы наших врачей были отправлены во врачебную управу и далее. Поговаривали даже о вырытии трупов и новом осмотре, который, кстати сказать, ни к чему бы не повел.

Урбенина раза два таскали в губернский город для освидетельствования его умственных способностей, и оба раза он был найден нормальным. Я стал фигурировать в качестве свидетеля<sup>[26]</sup>. Новые следователи так увлеклись, что в свидетели попал даже мой Поликарп.

Год спустя после моей отставки, когда я жил в Москве, мною была получена повестка, звавшая меня на разбирательство урбенинского дела. Я обрадовался случаю повидать еще раз места, к которым меня тянула привычка, и поехал. Граф, живший в Петербурге, не поехал и послал вместо себя медицинское свидетельство.

Дело разбиралось в нашем уездном городе, в отделении окружного суда. Обвинял Полуградов, тот самый, который раза четыре на день чистил свои зубы красным порошком; защищал некий Смирняев, высокий худощавый блондин с сентиментальным лицом и длинными, гладкими волосами. Присяжные всплошную состояли из мещан и крестьян; из них только четверо были грамотные, остальные же, когда им были поданы для просмотра письма Урбенина к жене, потели и конфузились. В старшины попал лавочник Иван Демьяныч, тот самый, который дал имя моему покойному попугаю.

Войдя в зал суда, я не узнал Урбенина: он совершенно поседел и постарел телом лет на двадцать. Я ожидал прочесть на лице его равнодушие к своей судьбе и апатию, но ожидания мои были ошибочны, —

Урбенин горячо отнесся к суду: он отвел трех присяжных, давал длинные объяснения и допрашивал свидетелей; вину свою отрицал он безусловно и каждого свидетеля, говорившего не за него, допрашивал очень долго.

Свидетель Пшехоцкий показал на суде, что я жил с покойной Ольгой.

— Это ложь! — крикнул Урбенин, — он лжец! Жене моей я не верю, но ему я верю!

Когда я давал показания, защитник спросил меня, в каких отношениях я находился с Ольгой, и познакомил меня с показанием Пшехоцкого, когда-то мне аплодировавшего. Сказать правду — значило бы дать показание в пользу подсудимого: чем развратнее жена, тем снисходительнее присяжные к мужу-Отелло, — я понимал это... С другой стороны, моя правда оскорбила бы Урбенина... он, услышав ее, почувствовал бы неизлечимую боль... Я счел за лучшее солгать.

— Нет! — сказал я.

Прокурор в своей речи, описывая в ярких красках убийство Ольги, обращал особенное внимание на зверство убийцы, на его злобу... «Старый, поношенный сластолюбец увидал девушку, красивую собой и молодую. Зная весь ужас ее положения в доме сумасшедшего отца, он манит ее к себе куском хлеба, жильем и цветными покоем... Она соглашается: состоятельный муж-старик все-таки выносимое сумасшедшего отца и бедности. Но она молода, а молодость, гг. присяжные, имеет свои неотъемлемые права... Девушка, воспитанная на романах и среди природы, рано или поздно должна была полюбить...» и т. д. в том же роде. Кончается тем, что «он, не давший ей ничего, кроме своей старости и цветных тряпок, видя ускользящую добычу, впадает в ярость животного, к носу которого поднесли раскаленное железо. Любил он животное и ненавидеть должен животное» и проч.

Обвиняя Урбенина в убийстве Кузьмы, Полуградов указывал на те воровские приемы, здраво обдуманые и взвешенные, которыми сопровождалось убийство «спящего человека, имевшего неосторожность показать накануне против него. А что Кузьма хотел рассказать следователю именно против него, в этом вы, я полагаю, не сомневаетесь».

Защитник Смирняев не отрицал виновности Урбенина; он просил только признать, что Урбенин действовал под влиянием аффекта, и дать ему снисхождение. Описывая, как мучительно бывает чувство ревности, он привел в свидетели шекспировского Отелло. Взглянул он на этот «всечеловеческий тип» всесторонне, приводя цитаты из разных критиков, и забрел в такие дебри, что председатель должен был остановить его замечанием, что «знание иностранной литературы для присяжных

необязательно».

Воспользовавшись последним словом, Урбенин призвал бога в свидетели, что он не виноват ни делом, ни мыслью.

— Мне лично всё равно, где ни быть: в этом ли уезде, где всё напоминает мне мой незаслуженный позор и жену, или на каторге, но меня смущает судьба моих детей.

И, повернувшись к публике, Урбенин заплакал и просил приютить его детей.

— Возьмите их. Граф, конечно, не упустит случая щегольнуть своим великодушием, но я уже предупредил детей: они не возьмут от него ни одной крохи.

Заметив меня среди публики, он поглядел на меня умоляющими глазами и сказал:

— Защитите моих детей от благодеяний графа.

Он, видимо, забыл о предстоящем вердикте и весь предался мысли о детях. Говорил он о них до тех пор, пока не был остановлен председателем.

Присяжные совещались недолго. Урбенин был признан виновным безусловно и ни на один пункт не получил снисхождения.

Приговорен он был к лишению всех прав состояния и ссылке в каторжные работы на 15 лет.

Так дорого обошлась ему встреча в майское утро с поэтической «девушкой в красном»...

Со времени описанных событий прошло уже более восьми лет. Одни участники драмы умерли и уже сгнили, другие несут наказание за свой грех, третьи влечат жизнь, борясь с будничной скукой и ожидая смерти со дня на день.

В восемь лет изменилось многое... Граф Карнеев, не перестававший питать ко мне самую искреннюю дружбу, уже окончательно спился. Усадьба его, давшая место драме, ушла от него в руки жены и Пшехоцкого. Он теперь беден и живет на мой счет. Иногда, под вечер, лежа у меня в номере на диване, он любит вспомнить былое.

— Хорошо бы теперь цыган послушать, — бормочет он, — пошли, Сережа, за коньяком!

Я тоже изменился. Силы мои оставляют меня постепенно, и я чувствую, как выходят из моего тела здоровье и молодость. Нет уж той физической силы, нет ловкости, нет выносливости, которой я щеголял когда-то, бодрствуя несколько ночей подряд и выпивая количество, которое я теперь едва ли подниму.

На лице одна за другой появляются морщины, волосы редуют, голос

грубеет и слабеет... Жизнь прошла...

Прошрое я помню, как вчерашний день. Как в тумане, вижу я места и образы людей. Беспристрастно относиться к ним нет у меня сил; люблю и ненавижу я их с прежней силой, и не проходит того дня, чтобы я, охваченный чувством негодования или ненависти, не хватал бы себя за голову. Граф для меня по-прежнему гадок, Ольга отвратительна, Калинин смешон своим тупым чванством. Зло считаю я злом, грех — грехом.

Но бывают нередко минуты, когда я, взглядевшись в стоящий на моем столе портрет, чувствую непреодолимое желание пройти с «девушкой в красном» по лесу под шумок высоких сосен и прижать ее к груди, несмотря ни на что. В эти минуты прощаю я и ложь и падение в грязную пропасть, готов простить всё для того, чтобы повторилась еще раз хотя бы частица прошлого... Утомленный городской скукой, я хотел бы еще раз послушать рев великана озера и промчаться по его берегу на моей Зорьке... Я простил и забыл бы всё, чтобы еще раз пройти по тeneвской дороге и встретить садовника Франца с его водочным бочонком и жокейским картузиком... Бывают минуты, когда я готов даже пожать руку, обагренную кровью, и потолковать с благодушным Петром Егорычем о религии, урожае, народном образовании... Я хотел бы повидаться со «щуром», с его Наденькой...

Жизнь бешеная, беспутная и беспокойная, как озеро в августовскую ночь... Много жертв скрылось навсегда под ее темными волнами... На дне лежит тяжелый осадок...

Но за что я люблю ее в иные минуты? За что я прощаю ее и мчусь к ней душой, как нежный сын, как птица, выпущенная из клетки?..

Жизнь, которую я вижу сейчас сквозь номерное окно, напоминает мне серый круг: серый цвет и никаких оттенков, никаких светлых проблесков...

Но, закрыв глаза и припоминая прошлое, я вижу радугу, какую дает солнечный спектр... Да, там бурно, но там светлее...

С. Зиновьев.

Конец

Внизу рукописи написано:

Милостивый государь, г. редактор! Предлагаемый роман (или повесть, как хотите) прошу печатать, по возможности, без сокращений, урезок и вставок. Впрочем, изменения можно делать по соглашению с автором. В случае же невыгодности прошу рукопись сохранить для возвращения. Жительство (временное) имею в Москве, на Тверской, в номерах «Англия». Иван Петрович Камышев.

P. S. Гонорар — по усмотрению редакции.

Год и число.

Теперь, познакомив читателя с романом Камышева, продолжаю прерванную с ним беседу. Прежде всего я должен предупредить, что обещание, данное мною читателю в начале повести, не сдержано: роман Камышева напечатан не без пропусков, не *in toto*, как я обещал, а по значительном сокращении. Дело в том, что «Драма на охоте» не могла быть напечатана в газете, о которой шла речь в первой главе этой повести: газета прекратила свое существование, когда рукопись поступила в набор... Настоящая же редакция, давшая приют роману Камышева, нашла невозможным печатать его без урезок. Всякий раз, во всё время печатания, она присылала мне корректуры отдельных глав с просьбой «изменить». Я же не хотел брать греха на душу, изменять чужое, и находил лучшим и полезным совсем выпускать, чем изменять неудобное место. По соглашению со мной, редакция выпустила много мест, поражавших своим цинизмом, длиннотами и небрежностью в литературной отделке. Эти выпуски и урезки требовали осторожности и времени — причина, отчего многие главы запаздывали. Выпущены нами, между прочим, два описания ночных оргий. Одна оргия происходила в доме графа, другая на озере. Выпущено описание библиотеки Поликарпа и оригинальная манера его чтения: это место найдено слишком растянутым и утрированным.

Более всего я отстаивал и редакция более всего невзлюбила главу, в которой описывается отчаянная игра в карты, свирепствовавшая среди графской прислуги. Самыми страстными игроками были садовник Франц и старуха Сычиха; играли они преимущественно в стуколку и три листика. В период следствия Камышев, проходя однажды мимо одной из беседок и заглянув в нее, увидел сумасшедшую игру: играли Сычиха, Франц и... Пшехоцкий. Играли в стуколку, втемную, со ставкой в 90 коп.; ремиз достигал до 30 руб. Камышев подсел к игрокам и «обчистил» их, как куропаток. Обыгранный Франц, желая продолжать игру, отправился на озеро, где он прятал свои деньги. Камышев проследил его путь и, подметив, где он прячет свои деньги, обокрал садовника, не оставив ему ни одной копейки. Взятые деньги он отдал рыбаку Михею. Эта странная благотворительность прекрасно характеризует взбалмошного следователя, но описана она так небрежно и беседы партнеров пещрят такими перлами сквернословия, что редакция не согласилась даже на изменения.

Выпущено несколько описаний свиданий Ольги с Камышевым; пропущено одно объяснение его с Наденькой Калининой и т. д. Но думаю, что и напечатанного достаточно для характеристики моего героя. Sapienti

sat... [\[27\]](#)

Ровно через три месяца редакционный сторож Андрей доложил мне о приходе «господина с кокардой».

— Проси! — сказал я.

Вошел Камышев, такой же краснощекий, здоровый и красивый, как и три месяца назад. Шаги его были по-прежнему бесшумны... Он положил на окно свою шляпу так осторожно, что можно было подумать, что он клал какую-нибудь тяжесть... В голубых глазах его светилось по-прежнему что-то детское, бесконечно добродушное...

— Опять я вас беспокою! — начал он, улыбаясь и осторожно садясь. — Простите, ради бога! Ну что? Какой приговор произнесен для моей рукописи?

— Виновна, но заслуживает снисхождения, — сказал я.

Камышев засмеялся и высморкался в душистый платок.

— Стало быть, ссылка в огонь камина? — спросил он.

— Нет, зачем так строго? Карательных мер она не заслуживает, мы употребим исправительные.

— Исправить нужно?

— Да, кое-что... по взаимному соглашению...

Четверть минуты мы помолчали. У меня страшно билось сердце и стучало в висках, но подавать вид, что я взволнован, не входило в мои планы.

— По взаимному соглашению, — повторил я. — В прошлый раз вы говорили мне, что фабулой своей повести вы взяли истинное происшествие.

— Да, и теперь я готов повторить это же самое. Если вы читали мой роман, то... честь имею представиться: Зиновьев.

— Стало быть, это вы были шафером у Ольги Николаевны?..

— И шафером и другом дома. Не правда ли, я симпатичен в этой рукописи? — засмеялся Камышев, поглаживая колено и краснея, — хорош? Бить бы нужно, да некому.

— Так-с... Ваша повесть мне нравится: она лучше и интереснее очень многих уголовных романов... Только нам с вами, по взаимному соглашению, придется произвести в ней кое-какие весьма существенные изменения...

— Это можно. Например, что вы находите нужным изменить?

Самый *habitus* [\[28\]](#) романа, его физиономию. В нем, как в уголовном романе, всё есть: преступление, улики, следствие, даже пятнадцатилетняя



каторга на закуску, но нет самого существенного.

— Чего же именно?

— В нем нет настоящего виновника...

Камышев сделал большие глаза и приподнялся.

— Откровенно говоря, я вас не понимаю, — сказал он после некоторого молчания, — если вы не считаете настоящим виновником человека, который зарезал и задушил, то... я уж не знаю, кого следует считать. Конечно, преступник есть продукт общества, и общество виновно, но... если вдаваться в высшие соображения, то нужно бросить писать романы, а взяться за рефераты.

— Ах, какие тут высшие соображения! Не Урбенин ведь убил!

— Как же? — спросил Камышев, придвигаясь ко мне.

— Не Урбенин!

— Может быть. *Humanum est errare*<sup>[29]</sup> — и следователи несовершенны: судебные ошибки часты под луной. Вы находите, что мы ошиблись?

— Нет, вы не ошиблись, а пожелали ошибиться.

— Простите, я вас опять не понимаю, — усмехнулся Камышев, — если вы находите, что следствие привело к ошибке и даже, как я вас стараюсь понять, к преднамеренной ошибке, то любопытно было бы знать ваш взгляд. По вашему мнению, кто убил?

— Вы!!

Камышев поглядел на меня с удивлением, почти с ужасом, покраснел и сделал шаг назад. Затем он отвернулся, отошел к окну и засмеялся.

— Вот так клюква! — пробормотал он, дыша на окно и нервно рисуя на нем вензель.

Я глядел на его рисующую руку и, казалось, узнавал в ней ту самую железную, мускулистую руку, которая одна только могла в один прием задушить спящего Кузьму, растерзать хрупкое тело Ольги. Мысль, что я вижу перед собой убийцу, наполняла мою душу непривычным чувством ужаса и страха... не за себя — нет! — а за него, за этого красивого и грациозного великана... вообще за человека...

— Вы убили! — повторил я.

— Если не шутите, то поздравляю вас с открытием, — засмеялся Камышев, всё еще не глядя на меня. — Впрочем, судя по дрожи вашего голоса и по вашей бледности, трудно допустить, что вы шутите. Экий вы нервный!

Камышев повернул ко мне свое пылающее лицо и, силясь улыбнуться, продолжал:

— Любопытно, откуда вам могла прийти в голову такая мысль! Не писал ли я чего-нибудь такого в своем романе, — это любопытно, ей-богу... Расскажите, пожалуйста! Раз в жизни стоит испытать это ощущение, когда на тебя смотрят, как на убийцу.

— Убийца вы и есть, — сказал я, — и даже скрыть этого не можете: в романе проврались, да и сейчас плохо актерствуете.

— Это совсем таки интересно — любопытно было бы послушать, честное слово.

— Коли любопытно, так слушайте.

Я вскочил и, волнуясь, заходил по комнате. Камышев заглянул за дверь и плотнее притворил ее. Эта осторожность выдала его.

— Чего же вы боитесь? — спросил я.

Камышев конфузливо закашлялся и махнул рукой.

— Ничего я не боюсь, а просто так... взял да и взглянул за дверь. А вам и это понадобилось? Ну, рассказывайте.

— Позвольте вам допрос сделать?

— Сколько угодно.

— Предупреждаю, что я не следователь и допрашивать не мастер; порядка и системы не ждите, а потому не извольте сбивать и путать. Прежде всего скажите мне, куда вы исчезли после того, как оставили опушку, на которой кутили после охоты?

— В повести сказано: я пошел домой.

— В повести описание вашего пути старательно зачеркнуто. Вы шли тем лесом?

— Да.

— И могли, стало быть, встретиться там с Ольгой?

— Да, мог, — усмехнулся Камышев.

— И вы с ней встретились.

— Нет, не встречался.

— На следствии вы забыли допросить одного очень важного свидетеля, а именно себя... Вы слышали крик жертвы?

— Нет... Ну, батенька, допрашивать вы совсем не мастер...

Это фамильярное «батенька» меня покорило: оно плохо вязалось с теми извинениями и смущением, которыми началась наша беседа. Скоро я заметил, что Камышев глядел на меня снисходительно, свысока и почти любовался моим неумением выпутаться из массы волновавших меня вопросов...

— Допустим, что в лесу вы не встретились с Ольгой, — продолжал я, — хотя, впрочем, Урбенину труднее было встретиться с Ольгой, чем вам,

так как Урбенин не знал, что она в лесу, а стало быть, не искал ее, а вы, будучи пьяным и взбешенным, не могли не искать ее. Вы, наверное, искали ее — иначе зачем же вам было идти домой лесом, а не дорогой... Но допустим, что вы ее не видали... Чем объяснить ваше мрачное, почти бешеное настроение в вечер злополучного дня? Что побудило вас убить попугая, кричавшего о муже, убившем жену? Мне кажется, что он напоминал вам о вашем злодействе... Ночью вас позвали в графский дом, и вы, вместо того, чтобы тотчас же приступить к делу, медлили до приезда полиции почти целые сутки и, вероятно, сами того не замечая... Так медлят только те следователи, которым известен преступник... Вам он был известен... Далее — Ольга не назвала имени убийцы, потому что он был для нее дорог... Будь убийцей муж, она назвала бы его. Если она в состоянии была доносить на него своему любовнику-графу, то обвинить его в убийстве ей ничего бы не стоило: она его не любила, и он не был ей дорог... Любила она вас, и именно вы для нее были дороги... вас щадила она... Позвольте вас также спросить, почему это вы медлили задать ей прямой вопрос, когда она пришла в минутное сознание? К чему вы ей задавали совершенно не идущие к делу вопросы? Позвольте уж мне думать, что всё это вы делали ради проволоочки времени, чтобы не дать ей назвать вас. Ольга затем умирает... В своем романе вы ни полслова не говорите о впечатлениях, которые произвела на вас ее смерть... Тут я вижу осторожность: не забываете писать о рюмках, которые выпиваете, а такое важное событие, как смерть «девушки в красном», проходит в романе бесследно... Почему?

— Продолжайте, продолжайте...

— Следствие ведете вы безобразно... Трудно допустить, что вы, умный и очень хитрый человек, делали это не нарочно. Всё ваше следствие напоминает письмо, нарочно писанное с грамматическими ошибками, — утрировка выдает вас... Почему вы не осмотрели места преступления? Не потому, что забыли об этом или считали это неважным, а потому что ждали, чтобы дождь размыл ваши следы. Вы мало пишете о допросе прислуги. Стало быть, Кузьма не был вами допрошен до тех пор, пока его не застали за мытьем поддевки... Вам, очевидно, не было надобности впутывать его в дело. Почему вы не допросили гостей, кутивших с вами на опушке? Они видели окровавленного Урбенина и слышали крик Ольги, — допросить их следовало. Но вы этого не сделали, потому что хотя бы один из них мог бы вспомнить на допросе, что вы незадолго до убийства отправились в лес и пропали. Впоследствии, вероятно, они были допрошены, но это обстоятельство было ими уже забыто...

— Ловко! — проговорил Камышев, потирая руки, — продолжайте, продолжайте!

— Неужели для вас недостаточно всего сказанного?.. Чтобы доказать окончательно, что Ольга убита именно вами, следует еще напомнить вам, что вы были ее любовником, любовником, которого променяли на презируемого вами человека!.. Муж может убить из ревности, любовник, полагаю, тоже... Засим перейдем к Кузьме... Судя по последнему допросу, бывшему накануне его смерти, он имел в виду вас; вы утерли руки об его поддевку, и вы назвали его сволочью... Если не вы, то зачем вам было прерывать допрос на самом интересном месте? Почему вы не спросили о цвете галстука убийцы, когда Кузьма объявил вам, что он вспомнил, какого цвета этот галстук? Почему вы дали Урбенину свободу именно тогда, когда Кузьма уже вспомнил имя убийцы? Почему не раньше и не позже? Очевидно, вам нужно было взвалить на кого-нибудь вину, нужен был человек, который гулял бы ночью по коридору... Итак, Кузьму вы убили, боясь, чтоб он не назвал вас.

— Ну, довольно! — проговорил Камышев, смеясь, — будет! Вы вошли в такой азарт и так побледили, что, того и гляди, в обморок упадете. Не продолжайте. Действительно, вы правы: я убил.

Наступило молчание. Я прошелся из угла в угол. Камышев сделал то же самое.

— Я убил, — продолжал Камышев, — вы поймали секрет за хвост, — и ваше счастье. Редкому это удастся: больше половины наших читателей ругнет старика Урбенина и удивится моему следовательскому уму-разуму.

Ко мне в кабинет вошел сотрудник и прервал нашу беседу. Заметив, что я занят и взволнован, этот сотрудник повертелся около моего стола, с любопытством поглядел на Камышева и вышел. По уходе его Камышев отошел к окну и стал дышать на стекло.

— С тех пор прошло уже восемь лет, — начал он после некоторого молчания, — и восемь лет носил я в себе тайну. Но тайна и живая кровь в организме несовместимы; нельзя безнаказанно знать то, чего не знает остальное человечество. Все восемь лет я чувствовал себя мучеником. Не совесть меня мучила, нет! Совесть — само собой... да и я не обращаю на нее внимания: она прекрасно заглушается рассуждениями на тему о ее растяжимости. Когда рассудок не работает, я заглушаю ее вином и женщинами. У женщин я имею прежний успех — это а propos. Мучило же меня другое: всё время мне казалось странным, что люди глядят на меня, как на обыкновенного человека; ни одна живая душа ни разу за все восемь лет пылливо не взглянула на меня; мне казалось странным, что мне не

нужно прятаться; во мне сидит страшная тайна, и вдруг я хожу по улицам, бываю на обедах, любезничаю с женщинами! Для человека преступного такое положение неестественно и мучительно. Я не мучился бы, если бы мне приходилось прятаться и скрытничать. Психоз, батенька! В конце концов на меня напал какой-то задор... Мне вдруг захотелось излиться чем-нибудь: начхать всем на головы, выпалить во всех своей тайной... сделать что-нибудь этакое... особенное... И я написал эту повесть — акт, по которому только недалекий затруднится узнать во мне человека с тайной... Что ни страница, то ключ к разгадке... Не правда ли? Вы, небось, сразу поняли... Когда я писал, я брал в соображение уровень среднего читателя...

Нам опять помешали. Вошел Андрей и принес на подносе два стакана чая... Я поспешил выслать его...

— И теперь словно легче стало, — усмехнулся Камышев, — вы смотрите на меня теперь как на необыкновенного, как на человека с тайной, — и я чувствую себя в положении естественном... Но... однако, уже три часа, и меня ждут на извозчике...

— Постойте, положите шляпу... Вы рассказали мне о том, что довело вас до авторства, теперь скажите: как вы убили?

— Это вы желаете знать в дополнение прочитанного? Извольте... Убил я под влиянием аффекта. Теперь ведь и курят и чай пьют под влиянием аффекта. Вы вот в волнении мой стакан захватили вместо своего и курите чаще обыкновенного... Жизнь есть сплошной аффект... так мне кажется... Когда я шел в лес, я далек был от мысли об убийстве; я шел туда с одной только целью: найти Ольгу и продолжать жалить ее... Когда я бываю пьян, у меня всегда является потребность жалить... Я встретил ее в двухстах шагах от опушки... Стояла она под деревом и задумчиво глядела на небо... Я окликнул ее... Увидев меня, она улыбнулась и протянула ко мне руки...

— Не брани меня, я несчастна! — сказала она.

В этот вечер она была так хороша, что я, пьяный, забыл всё на свете и сжал ее в своих объятиях... Она стала клясться мне, что никого никогда не любила, кроме меня... и это было справедливо: она любила меня... И, в самый разгар клятв, ей вздумалось вдруг сказать отвратительную фразу: «Как я несчастна! Не выйди я за Урбенина, я могла бы выйти теперь за графа!» — Эта фраза была для меня ушатом воды... Все накипевшее в груди забурило... Меня охватило чувство отвращения, омерзения... Я схватил маленькое, гаденькое существо за плечо и бросил его оземь, как бросают мячик. Злоба моя достигла максимума... Ну... и добил ее... Взял и добил... История с Кузьмой вам понятна...

Я взглянул на Камышева. На лице его я не прочел ни раскаяния, ни

сожаления. «Взял и добил» — было сказано так же легко, как «взял и покурил». В свою очередь, и меня охватило чувство злобы и омерзения... Я отвернулся.

— А Урбенин там, на каторге? — спросил я тихо.

— Да... Говорят, что умер на дороге, но это еще неизвестно... А что?

— А что... Невинно страдает человек, а вы спрашиваете: «А что?»

— А что же мне делать? Идти да сознаваться?

— Полагаю.

— Ну, это положим!.. Я не прочь сменить Урбенина, но без борьбы я не отдамся... Пусть берут, если хотят, но сам я к ним не пойду. Отчего они не брали меня, когда я был в их руках? На похоронах Ольги я так ревел и такие истерики со мной делались, что даже слепые могли бы узреть истину... Я не виноват, что они... глупы.

— Вы мне гадки, — сказал я.

— Это естественно... И сам я себе гадок...

Наступило молчание... Я открыл счетную книгу и стал машинально читать цифры... Камышев взялся за шляпу.

— Вам, я вижу, со мной душно, — сказал он, — кстати: не хотите ли поглядеть графа Карнеева? Вон он, на извозчике сидит!

Я подошел к окну и взглянул в него... На извозчике, затылком к нам, сидела маленькая, согбенная фигурка в поношенной шляпе и с полинявшим воротником. Трудно было узнать в ней участника драмы!

— Узнал я, что здесь, в Москве, в номерах Андреева, живет сын Урбенина, — сказал Камышев. — Хочу устроить так, чтобы граф принял от него подачку... Пусть хоть один будет наказан! Но, однако, adieu!<sup>[30]</sup>

Камышев кивнул головой и быстро вышел. Я сел за стол и предался горьким думам.

Мне было душно.

## Примечания

**1**

в своем роде (лат.).



Прошу у читателя извинения за подобные выражения. Ими богата повесть несчастного Камышева, и если я их не вычеркнул, то только потому, что счел нужным, в интересах характеристики автора, печатать его повесть *in toto*[без пропусков — лат.

**3**

к праотцам (лат.).

4

неизвестную землю, область (лат.).

повод к войне (лат.).

**6**

сказал я,

Человек я (лат.).

первый любовник (франц.).

свидание (франц.).



Тут в рукописи Камышева зачеркнуто сто сорок строк. — А. Ч.

На этом месте рукописи нарисована чернилами хорошенькая женская головка с искаженными от ужаса чертами. Всё написанное ниже ее старательно зачеркнуто. Верхняя половина следующей страницы тоже зачеркнута, и сквозь сплошную чернильную кляксу можно разобрать одно только слово: «висок». — А. Ч.

Тут тоже зачеркнуто. — А. Ч.

Тут беспорядочно зачеркнута почти целая страница. Пощажены только несколько слов, не дающих ключа к уразумению зачеркнутого. — А. Ч.

Тут, к сожалению, опять зачеркнуто. Заметно, что Камышев зачеркивал не во время писанья, а после... К концу повести я обращаю на эти зачеркивания особое внимание. — А. Ч.

Последняя фраза написана выше зачеркнутой строки, в которой можно разобрать: «сорвал бы с плеч голову и вышиб бы все окна». — А. Ч.

Далее следует пластически вычурное толкование о душевной выносливости автора. Вид человеческих скорбей, кровь, судебные вскрытия и пр. не производят якобы на него никакого впечатления. Всё это место носит оттенок хвастливой наивности, неискренности. Оно поражает своей грубостью, и я выпустил его. Для характеристики Камышева оно не важно. — А. Ч.

Тут зачеркнуты две строки. — А. Ч.



Обращаю внимание читателя на одно обстоятельство. Камышев, любящий разглагольствовать о состоянии своей души всюду, даже в описаниях стычек своих с Поликарпом, ничего не говорит о впечатлении, произведенном на него видом умирающей Ольги. Думаю, что это пробел преднамеренный. — А. Ч.

Я должен обратить внимание читателя еще на одно очень важное обстоятельство. В продолжение 2 — 3-х часов г. Камышев занимается только тем, что ходит из комнаты в комнату, возмущается с врачами прислугой, щедро сыплет оплеухи и проч... Узнаёте ли вы в нем судебного следователя? Он, видимо, не спешит и старается чем-нибудь убить время. Очевидно, «ему убийца известен». Затем, описанный ниже, ничем не мотивированный, обыск у Сычихи и допрос цыган, более похожий на издевательство, чем на допрос, могут быть проделаны только для проволоочки времени. — А. Ч.

Это уклонение от вопроса первой важности имело в виду только одно: растянуть время и дожидаться потери сознания, когда Ольга не могла бы уже назвать имя убийцы. Прием характерный, и удивительно, что врачи не оценили его по достоинству. — А. Ч.

Всё это наивно только на первый взгляд. Очевидно, Камышеву нужно было дать понять Ольге, какие тяжелые последствия для убийцы будет иметь ее сознание. Если ей дорог убийца, ergo — она должна молчать. — А. Ч.

Если всё это нужно было г. Камышеву, то не легче ли было допросить кучеров, которые везли цыган? — А. Ч.

К чему? Допустим, что всё это проделано судебным следователем спьяна или спросонок, тогда зачем же об этом писать? Не лучше ли скрыть от читателя эти грубые ошибки? — А. Ч.

Напрасно Камышев бранит товарища прокурора. Виноват этот прокурор только в том, что его физиономия не понравилась г. Камышеву. Честнее было бы сознаться или в неопытности, или же в умышленных ошибках. — А. Ч.

Хорош следователь! Вместо того, чтобы продолжать допрос и вынудить полезное показание, он рассердился — занятие, не входящее в круг обязанностей чиновника. Впрочем, я мало верю всему этому... Если г. Камышеву были нипочем его обязанности, то продолжать допрос должно было заставить его простое человеческое любопытство. — А. Ч.



Роль, конечно, более подходящая г. Камышеву, чем роль следователя: в деле Урбенина он не мог быть следователем. — А. Ч.

Умному достаточно... (лат.)

общий вид (лат.).

Человеку свойственно ошибаться (лат.).

прощайте! (франц.).